



СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Валентина Дмитриченко
Стихотворения..... 3

Станислав Подольский
Стихотворения.....113

Оксана Крис
Стихотворения.....119

Валерия Махенько
Стихотворения..... 155



ПРОЗА

Александр Покровский
Гость фестиваля
«Белая акация»
Танцор 13

Валерий Бродовский
Рассказы 51

Сергей Скрипаль
Картинки из детства
Рассказ 123

Валерий Агарков
Дед Сашка Рассказ.....139

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Петр Чекалов
Преображенная
действительность 169

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексей КРУТОВ,
Олег ПАРФЁНОВ
Хватит сводить счёты 161

Главный редактор
Владимир Бутенко

*Литературное
Ставрополье
№ 2 (2018)*



ББК 84(2=411.2)64
УДК 821.161.1(470.63)-8
А72

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, А. Куприн,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова**

**А72 Литературное Ставрополье. Альманах. –
Ставрополь, 2018 г. – № 2.**

Адрес редакции:
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел.: (8652) 26-31-50.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Дизайн и верстка: А.В. Климов
Корректор: В.Б. Иванов

Сдано в набор 00.09.2018. Подписано в печать 00.09.2018.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ № 318-3. Тираж 979 экз.
Отпечатано в типографии «Фаворит»:
394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Трудовая, дом 50, кв. 10.
Тел.: 8-958-649-53-31.

ISBN 978-5-6041333-3-0



Мост

Ночь, бессонница, тишина.
Крыша дома раскалена,
Как жаровня,

июльским зноем.

Только звёзды в
проём окна,

Да оранжевая луна
Неотрывно следят за мною.

Мне не спится от духоты...

Стаи бражников на цветы

Под окно моё прилетели.

Обещанья твои пусты –

Между мной и тобой

мосты

Обветшали и отсырели –

Потому-то и не горят...

Люди добрые говорят,

Что близки они

к обрушенью.

Только верю я всё равно,

Только знаю я лишь одно –

Нам удастся найти

решенье!

Созвониться, поговорить,

Настежь души свои

открыть,

И наполниться новой силой,

И поправить тот

шаткий мост,

Чтоб подняться до

самых звёзд

И забыть обо всём,

что было!



**ВАЛЕНТИНА
ДМИТРИЧЕНКО**

Поэзия



Золотое сечение

Бросив вёсла, плыву по течению
Не от праздности, Мой Визави.
Я стремлюсь к золотому сечению
В дружбе, творчестве, вере, любви.
Упиваюсь беспечным скольжением,
Пребывая у музы в плену,
Чтобы неосторожным движением
Не спугнуть над рекой тишину.
Чтобы мыслью крамольной нечаянно
Не порвать эту тонкую нить –
Не нарушу обета молчания,
Никого не посмею винить
За утраты, тоску, огорчения,
Что с собой мы по жизни несём...
Я ищу золотого сечения,
Золотой середины во всём!

Одуванчики

Как светло за оградой сада:
День купается в синеве,
Одуванчики, как цыплята,
Разбрелись по густой траве.

К этим тёплым живым комочкам
Прикипела душа тотчас...
Вот и солнце, как мама-квочка,
С них сегодня не сводит глаз.

Овладев непростой наукой,
Под сиренью в моём саду
Я держу на коленях внука



И веночек ему плету.
Он лукавой улыбкой встретит
Отраженье своё в окне...
Пусть как солнышко мне посветит,
Пусть порадует душу мне
Одуванчик мой белокурый,

Что в мои перебрался сны...
Лук тугой да стрела Амура
Для кого-то припасены.

В этот летний палящий зной
Так милы мне – реки прохлады
Да сияние за оградой
От головки его льняной.

Ночью зябкой

Свет рассеянный скользит
Сквозь раскрытое оконце.
Поворотом жалюзи
Я в свой дом впускаю солнце.
Хлынет в двери тишина,
Вспыхнут жаром половицы,
И увиденное в снах
Наяву осуществится:
Лес поёт, река звенит,
Сад шумит и расцветает,
Солнце ярое в зенит
Красным мячиком взлетает.
Вдоль по улице трусцой
День бежит, ликуют птицы.
Шмель, облепленный пылью,
На ладонь мою садится.



Позови меня

Отсырел над Кубанью мост,
Обмелел за излучкой брод.
Заливается певчий дрозд
И дроздиху к себе зовёт.
Ослеплённая синевой
Я добром за добро плачу –
Как дроздиха, на голос твой –
Только свистни – и полечу!
Приберу и проветрю дом,
И полью на окне цветы,
И укрою тебя крылом,
И спасу от любой беды!
Не потребую никогда
Я ответной твоей любви...
Аксиома моя проста:
Позови меня, позови!

Отчего так поёт душа

Шум дождя затихает где-то,
Тени прячутся по углам.
И одна на двоих конфета,
Поделённая пополам.
Омут искусства, блажь, загадка
И понять ты не можешь сам –
От чего так тепло и сладко
Сердцу, телу, губам, глазам.
Отчего так щебечут птицы
В тёмных зарослях камыша,
Отчего так дрожат ресницы,
Отчего так поёт душа.

Акация в цвету

Погожий майский день,
Акация в цвету,
А сердцу и светло,
И радостно, и больно...
Ты приезжай, мой друг,
Я жду тебя, я жду.
Мы рядом посидим
И этого довольно!
Мне грустно, милый друг,
Хоть грусть моя светла,
И мне уже пора
Былое подытожить.
А помнишь – год назад
Акация цвела?..
Дыхание твоё –
Мурашками по коже.
Покой и непокой –
И всё в тебе одном...
Мелькание стрижей,
Синиц пугливых горстка,
И первая гроза,
И ливень за окном
Уютного кафе
Ночного Пятигорска.

А мне бы просто

Не сплю безлунными ночами –
Страницы жизни ворошу...
О сколько в мудрости печали,
А я о мудрости прошу!
А мне бы жить, а мне бы просто



Растить цветы, писать стихи
И, взор свой устремивши к звёздам,
Свои замаливать грехи.
Чтоб дом с геранями в оконце,
Чуть свет открытый всем ветрам,
Чтоб видеть, как из речки солнце
Выныривает по утрам.
И не роптать на хлеб свой скудный,
И людям мир и свет дарить,
И Господа ежеминутно –
За всё что есть – благодарить!

О прошлом ни слова!

Какие хорошие ясные дни!
Какие прекрасные светлые лица!
Ты слышишь – весну зазывает синица,
А значит: о прошлом ни слова! Ни-ни!
Послушай, как звонко щебечет капель,
Как трепетно тянутся к солнцу пролески,
Как бьются хрустальных сосулек подвески
Вокруг рассыпая весёлую трель!
Взгляни, как пронзителен неба пролом
И маковки сосен бьют в солнце, как в бубен.
Победно трубят водосточные трубы
О счастье, которое ждёт за углом!

Весна идёт

Капелью звонкой шлёт весна привет.
Блестит река и ярче светят звёзды.
Тюльпаны повылазили на свет
И не боятся заморозков поздних.
Придя в себя, окрестные леса,
Подёрнулись уже дымком зелёным.



Фиалок синих мокрые глаза
Глядят на мир светло и удивлённо.
А я до света не смыкаю глаз
От этих сини, зелени и звени,
Как будто вижу это в первый раз,
И плачу так, как будто бы в последний.

Открою окна

О, жизнь ко мне щедра, как никогда –
Проснусь чуть свет и тут же обнаружу:
Поспешно покидают холода
Мой ветхий дом, мою больную душу.
Открою окна, двери распахну,
И чтоб уже назад не возвращаться –
На мир с другого ракурса взгляну
И, может быть, опять поверю в счастье.

Начало

Лишь заря разрумянит
Прибрежный лесок,
Лишь тюльпан из-под снега
Потянется к свету –
Сквозь туман долетит
До меня голосок,
Что звучанием схож
Со звучанием флейты.
Прогоняя ненастной зимы
Холода
И внося в мою скучную
Жизнь измененья, –
Льётся в душу мне первая
Песня дрозда
И снимает с души моей



Оцепененье.
Затрепещет она,
Как листок на ветру,
Что впервые увидел
Весеннее солнце,
И откроется настужь
Любви и добру,
И любовь ко мне вновь
Неприменно вернётся!

Белый голубь на балконе

Капли падают в ладони
Лепестков цветущих роз.
Белый голубь на балконе,
Что с собою ты принёс?
Может, быть, привет от друга
В виде белого стиха,
Может, весть, что скоро вьюга
Всё укутает в меха.
Может горечь сожаленья
В нерастраченной душе,
И намёк, что потепленья
Не предвидится уже.

Бархатный сезон

Признак ускользящего лета –
Красные серёжки бересклета,
Грязно-серой паутины клочок.
Растеклась желанная прохлада
По душе, по комнатам, по саду,
Проникая в каждый уголок.
Сонной речки говорок картавый,

Яблоками пахнущие травы,
Листьев палых охра и краплак.
Вот она желанная свобода...
И пыльцы цветочной позолота
Ливнями смывается в овраг.
Вышли все положенные сроки.
По ночам рокочут водостоки
С ветром оголтелым в унисон.
Ласточки и листья сбились в стаи...
С добрым утром, осень золотая –
Бабье лето, бархатный сезон!



Гость фестиваля «Белая акация»

Танцор

Я расскажу вам одну повесть.

Она будет о людях, о подводных лодках, о любви и о верности.

А начнем мы с любви, потому что все на этом свете начинается с любви, существует ради нее и заканчивается ею. Порассуждаем обо всех ее составляющих. И не просто обо всех ее составляющих, а прежде всего о том, на что ради нее люди способны.

О-о, они способны на многое. Они способны не спать, бегать, замерзать, падать, плыть.

Они способны рыдать, рычать, кричать, вопить, орать во все горло, стучаться в любые двери и трясти за грудки – по-давай сюда любимого.

Знаете ли вы, что такое морская база? Нет? Это потому, что вы счастливые люди.

База – это место такое, совсем глухое, чтобы не нашли.

А кто его должен найти? Его никто не должен найти, потому что это база подводных лодок.



**АЛЕКСАНДР
ПОКРОВСКИЙ**

Проза



Все это на севере нашей с вами горячо любимой родины.

Скалы, тундры и вода. Та вода навсегда. Любите ли вы воду? Я – да!

Баренцево море – заливы, проливы, бухты, губыны и Гольфстрим.

И еще ветер.

Ох, какой это ветер, ох! Он дует и дует. Ночи напролет. И днем он тоже дует. Он дует так, что порой кажется, что никогда он не закончит это свое занятие. Он сдувает все. Все подряд – по веревкам люди ходят. Натягивают между домами веревки и ходят, держась за них. А иначе снесет.

А берег тут называют «самоедским». Здесь издавна живут «самоеды», то есть те, кто сами себя едят.

И лоция этих мест называется «Лоция Самоедского берега», берега терпимого и невыносимого.

Все тут существует вопреки. Вопреки здравому смыслу, конечно.

То есть по воле человека.

Глубина моря в этой части мирового океана может вдруг резко уменьшиться до пятидесяти метров, и тогда такая штука, как Гольфстрим – тук! – и упирается, как в стенку, а затем он заворачивает на север и северо-восток, после чего в заливе появляется зыбь, черт бы ее побрал.

Из-за нее корабль может на полном ходу зарываться (моряки говорят «хлюпать носом»), и делает он это по самое это самое, то есть «по самое не хочу», то есть самую рубку, но это только в том случае, если корабль тот – подводная лодка, идущая в надводном положении.



И еще «...для преодоления воздействия северо-западного ураганного ветра и возникающего при этом нагонного течения скоростью в четыре-пять узлов в юго-западном направлении, отходя от пирса, командир вынужден развить ход до полного надводного, чтобы иметь истинную скорость восемь-девять узлов...» – это я вам почти что инструкцию привел. По управлению все той же лодкой.

А вы знаете, что такое подводные лодки? Нет? Это дурочки такие железные. Иногда большие, иногда не очень. Жуткие, жуткие железные штуки.

Про них можно долго рассказывать, но лучше все это потом, а сейчас стоило бы вместе с лучом света попасть в пятое сбоку окно на втором этаже одной бетонной пятиэтажки, что пристроилась недалеко от озера в поселке при той самой базе.

Луч света попадет в дырочку на шторе – ею занавешено окно – и через нее в комнату.

Утро, осень, сентябрь, еще солнышко, без пяти минут шесть часов утра, тишь, и в комнате все можно рассмотреть.

Собственно, в ней нечего рассматривать: что-то вроде шкафа, столик и кровать.

Одна большая кровать. Она занимает почти всю комнату.

В кровати двое – он и она. Они спят.

Он спит, как животное, то есть сразу и наповал. Под одеялом угадывается гибкое тело, длинные мышцы. Это мышцы танцора. Его и зовут Танзором. Это прозвище такое. Ему что-то около двадцати пяти лет, и он уже старший лейтенант военно-морского флота, а это значит, что он знает, что в этом мире почем.

Стриженный затылок и мальчишество во всем.

На вид ей лет девятнадцать-двадцать – длинные волосы, носик, рука за головой, полуобнаженная грудь.

Словом, в постели дети.

Оживает радиоточка, в ней сначала раздается тихий шелест, всхлип, скрежет, возня, а потом все это стихает, как в груди Голиафа перед вдохом, и вдруг как грянет!

Гимн.

Гимн великой страны, «Союз нерушимый».

Шесть часов. Гимн включается ровно в шесть часов утра. Он звучит только четыре минуты, наполняя комнату невыносимым торжеством.

Наши новые знакомые хоть бы вздрогнули – они все так же недвижимы.

Гимн отзвучал – теперь пора вставать.

Он с закрытыми глазами приподнимается, выползает из-под одеяла, садится, потом нехотя встает, потягиваясь и ломая руки, начинает извиваться всем телом.

Движения плавные.

Просыпается девушка. Она лежа смотрит на него. Сначала молча, потом тихо говорит:

– Ты меня любишь?

– Я?

Он останавливается, открывает глаза, лениво тянет:

– Нет, конечно, – после чего продолжает извиваться. – А почему? (останавливается, гримасничая) А потому что люблю себя (опять извивается)... Себя и свое тело... между прочим, божественное... Мда! Остальным телам позволено только существовать.



Она смотрит на него, опираясь локтем в подушку:

– А серьезно?

– А об этом говорят серьезно? Никогда! Ты чего, Пенелопа? Шесть часов! «Любишь, не любишь», – он уже застегивает штаны. – Я же опаздываю!

Она мгновенно вылетает из кровати и припирает его к стенке:

– Ну? Говори! Любишь?

– Так! Девушка... – он пытается освободиться, но это не так просто сделать.

– Ну?!

– Нет!.. Сказал же: не люблю... Но я обожаю. Да! Тут ничего не поделать. Уже в который раз я обо всем этом думаю. Размышляю. Ничего. Ничего не поделать. Я обожаю. Я нахожусь сейчас в этой стадии. А вы знаете, как мне тяжело? А? – ему удается с ней справиться. – И с этим надо что-то делать. Что-то предпринять. Что-то делать, что-то делать! А! Я знаю, что делать, – он выталкивает ее из комнаты, выбрасывает вслед ее вещи и закрывает дверь. Потом он подходит к окну, открывает форточку и орет в нее:

– Женька! Су-ббо-тин! Вставай, минер, проклятьем клейменный! Почему мы тралим мины, потому что мы – дубины! Кто обещал меня разбудить без пятнадцати шесть? А? Ми-не-ееер! Ско-ти-на! А ну, бегом на корабль! В ствол, за-ра-за!

А теперь перед нами квартира в доме напротив. Окна в окна. Там тоже сразу же натыкаешься на постель и в ней тоже двое. Один из них – Женька, как мы только что поняли, минер.

Они с Танзором большие друзья. Они такие друзья, что один без другого долго не может – полчаса и уже ищет.

А на лодках так и дружат – парами, редко тройками. Ходят по пирсу в свободное время, чуть ли не под ручку, и говорят, говорят – всё никак не могут

наговориться. Или в гости друг к дружке в море ходят. В каюту. Стучатся: «Разрешите к вам в гости» – а потом уже говорят и говорят.

А о чем они говорят? О берегу, конечно, о солнце, пляже и о женщинах.

Это не описать, до чего тут любят солнце.

До чего его любят и ждут.

Особенно в самом конце полярной ночи, когда первый луч его после зимы чуть только появляется на горизонте. Оно сначала очень ненадолго повисает над его чертой. В погожий день выглядывает только краешек золотого диска. А затем оно выбирается медленно и сонно, а потом и вспыхивает.

О-оооо, как его здесь ожидают. Как томятся без него, как тоскуют.

И сразу же подставляют ему лицо, а глаза закрывают.

От него, от солнца, все вокруг сейчас же сверкает, потому как всё еще снежное и волшебное.

Всё еще льдистое и от того разбрызгивает падающие лучи.

А ты жмуришься и думаешь, что как все-таки здорово, что ты есть, и сопки вокруг есть, и еще есть замерзшее озеро.

И о женщинах здесь всегда говорят. Говорят так: «Женщины...» – и потом только хорошее.

Когда не видишь женщин месяца по три, а иногда и по полгода, то говоришь о них только хорошее.

А дизеля (ударение на «ля») – так называют подводничков с дизельных лодок – те могут своих женщин и по четырнадцать месяцев не видеть – обычное дело.

А еще от женщин пахнет. Восхитительно.

И еще с ними рядом хочется стоять – тут что-то



происходит, токи, что ли, от них исходят. Наверное, так. Это ужасно приятные токи. От них улыбка на лице.

И потом такое чувство, что рядом с тобой стоит единственная женщина, и что потом ее больше не будет, и от этого у тебя на душе сладко, если только так можно сказать...

Тут любят женщину, как в последний раз, будто встреча с ней больше никогда не случится, поэтому всё важно, всё значимо...

А еще говорят о лете, о пляже, о золотом песке и о том, как в него здорово зарываться, и как он хорошо греет, и как на нем засыпаешь после того, как наплавался в море до синевы губ.

Женька приподнимается с подушки и шепчет:

– Танцор, зараза.

Женщина накрывается с головой и произносит:

– Печенье в пакете на столе. Не забудь.

– Ага.

Через мгновение они уже бегут на службу.

А почему они на службу бегут?

Они бегут потому, что база расположена на расстоянии примерно двух с половиной километров от поселка. На таком вот расстоянии.

Это всё из-за ядерного взрыва. Из-за какого ядерного взрыва? Из-за такого. Как бабахнет! Как даст, чуть чего, – вот из-за такого.

Даст, конечно, не сейчас, не вдруг, ни с того ни с сего, а когда начнется война.

Вот начнется война – тогда, конечно, и даст, тогда всё и произойдет.

Раньше проводили расчеты, и по всем расчетам получалось, что если будет ядерной взрыв в базе, то от поселка на таком расстоянии хоть что-то останется.

Позже так перестали считать, поумнели, но и на двадцать километров от базы поселок все же не перенесли.

Поздно. Уже построили.

Так что на службу бегают. Особенно если опаздывают. А опаздывают они всегда, потому что офицеры.

Эти всегда опаздывают.

– Сколько? – это Женька. Он таким образом спрашивает: сколько теперь времени. Он поворачивает голову на бегу, стараясь при этом стриженной челкой и лбом удерживать на голове мелко скачущую фуражку.

Фуражка на флотской голове – это что-то. Раньше она была с очень маленькой тульей, и поля у нее тоже были маленькие, потому что это была фуражка флотских офицеров и большие поля ей, стало быть, ни к чему – ее с большими полями любым порывом ветра в воду сбросит; а потом что-то поменялось – сначала в армии, а потом и на флоте, а может быть, в атмосфере, в природе – что-то очень важное, правильно, может быть, даже личное, и всюду фуражки стали распухать, увеличиваться в размерах, как гребень племенного петуха.

Всюду – это я про тех, кто служит на берегу, а вот флотские офицеры фуражку перешивают, наоборот, уменьшая ее в размерах, после чего она становится похожа на нечто сморщенное, обвисшее. На сморчок она похожа. На гриб. Она так и называется: военно-морской гриб. Должны же офицеры плавсостава отличаться от офицеров береговой базы? Должны. Вот они и отличаются.

Держится ли после этого фуражка на голове? Держится.

Особым усилием воли.

– Шесть... двадцать шесть! – это Танцор. Самое время назвать его настоящее имя. Зовут его Павел Турчанский, и среди своих он слышит балбесом.

По специальности он корабельный химик, сокращенно начхим – это должность такая. Есть на корабле такое несчастье.



Я знавал адмиралов, которые произносили слово «химик» только с добавлением слова «сранный». Это были замечательные адмиралы.

Это были настоящие адмиралы, покорители морей, и дохлятиной от них никогда не пахло.

– На санпропускник не попадаем. Прямо к пирсу. Перед КДП переоденемся. У тебя все с собой? – говорит на бегу Танцор.

– А как же! – слышится в ответ.

Стоит объяснить: видите ли, в нашем случае лодка атомная, а на атомные лодки лодочный народ попадает только через санпропускники – специальные помещения, где он оставляет свое белье в шкафчиках, а сам в это время он надевает на себя другое белье – может быть, даже защищающее от радиации.

Да, вполне возможно, что и так. Мало ли на свете чудес? Защищает, ограждает, сберегает.

От радиации.

Но если народ торопится, то приходится и на ходу переодеваться.

Главное, иметь в портфеле то самое, схороняющее от радиации, белье.

Чушь, конечно, ничего оно не сохраняет, но радостей жизни это всё прибавляет. Каких радостей? Разных. У подводника много разных радостей.

АКДП – это контрольно-дозиметрический пост – это такое строение перед пирсом. Домик небольшой. В нем, чуть чего, проверят подводничка во многих местах на предмет радиоактивного заражения.

Чтобы попасть на пирс, у которого лодочка ошвартована, надо через этот КДП пройти уже переодетым – за этим следят. И следят за этим специальные службы. На флоте всегда

так: кто-то плавает – а плавает примерно семнадцать процентов от всего личного состава флота, остальные – восемьдесят три – за ними следят.

И это не исправить, не избыть. Чего не избыть? Ничего не избыть. Особенно слезку.

А где в этот момент наша девушка и что теперь с ней? Мы ж ее покинули. И покинули мы ее в тот самый момент, когда Паша Турчанский, по кличке Танцор, выставил ее вместе с бельем за дверь.

Пашка сволочь, конечно, и с любимыми дамами так не поступают, хотя... вот таким обормотам как раз все и прощается. И женщины их любят на зависть всем просто безо всякой памяти.

В этот момент наша девушка осторожно открывает ключом дверь своей квартиры. Она старается проскользнуть в свою комнату как можно тише. Она снимает туфли в прихожей, идет босиком, на цыпочках.

В дверях комнаты ее встречает мать. У матери усталые глаза. У матерей часто бывают усталые глаза, когда вырастают их дочери.

– Значит, была у Люды?

– Мама...

Ох, мамы, мамы. Они не спят ночами, когда повзрослело их чадо.

А чадо повзрослело и ему плевать.

– Лена, отец полночи на кухне курил...

– Ну ма... я – взрослая.

Так обычно говорят, когда нечего сказать. Так говорят, когда надо защищаться. И вообще – что они только нам не говорят, эти дети, когда защищаются, но все, что они в тот момент говорят, это совсем не то, что они хотят сказать. Зачастую им просто не хватает слов, от того-то они и говорят всё, что им только в голову приходит, а в голову им приходят разные разности.



А отцы, конечно же, курят на кухне. Что там у них при этом делается в печени – одна сплошная загадка.

Отцовская печень – тебя принесут в жертву, ты страдаешь больше всех.

Однако у девушки возраст.

– Тебе только восемнадцать лет исполнилось. Я хоть его знаю?

– Ну, да... – совсем тихо, не глядя в глаза.

– Танцор?

Быстрый кивок.

– О, Господи... опять Танцор... ну почему опять Танцор?

Видите ли, с Танцором тут уже была одна история. Его обнаружили целующимся у самой двери. И целовался он с дочерью. Страстно. Что происходит в душе у матери, когда у двери в собственное жилище кто-то чужой мнет в объятьях ее повзрослевшее дитя? Там разрастается ноющая боль. Трудно потом объяснить маме, почему хорош твой избранник.

– Потому что...

– Только бы отец не узнал...

А эти двое все еще бегут.

– Поднажали-поднажали! Минер! Скоро откроется второе дыхание и будет легче!

– Ты заткнуться можешь?

– А как же?! А зачем эти базы делают так далеко? Только заснул и опять в ствол. Только, понимаешь, заснул...

– Замолчишь?

– Ну?!

Подлетают к КПП.

Чтоб попасть в огороженную от окружающей среды зону, там, где лодочки стоят, надо сначала миновать КПП – пункт контрольно-пропускной. Там у вас документы проверят. Таков порядок. Документы проверяются у всех.

Хоть по сто раз мимо ходи.

Подбегая, Танцор истошно орет:
– Вахта! Вахта!!! ВАХТА!!!
На его крик выбегает вахта – матросы.
– Сзади «Волга» командующего вместе с проверяющим! ИЗ МОСКВЫ!!!

Кто-то из матросов на всякий случай отдает честь. В повседневной жизни они этой извилины лишены. Чего ради они будут отдавать честь двум старшим лейтенантам? А? Я вас спрашиваю! Ну? Не знаете? Я вот тоже не знаю. Мы же на севере, старая пропасть, а не в каком-нибудь там занюханном Севастополе. Тут и адмиралам иногда не отдают честь – так, мимо шляются.

Видимо, холод влияет или еще чего-то.

Но сейчас честь отдали, причем очень бодро. Такова реакция на слово «проверяющий» и на слово «МОСКВА».

Так и не предъявив никому документов, оба приятеля проскочили КПП.

Отбегают метров тридцать.

Женя Танцору:

– Пашка, ты все-таки чокнутый. Чего это за кино только что было?

– А тебе охота пропуск из промежности доставать? А так тебе даже честь отдали.

Впереди пирс, лодка, экипаж построен.

Экипаж строится на плавпирсе. Нет, нет, нет – никаких построений на борту для красоты и прочее. Только на плавпирсе.

Тут все пирсы плавучие.

Они с помощью специальной аппарелины прикреплены к берегу одним концом – его обычно называют «корень пирса». Корень, так корень – остальное плавает.

Пирс железный, он состоит из множества секций, каждая из которых полая, оттого-то он и выталкивается водой на поверхность.



Пирс покрашен красным суриком, к нему ошвартована лодка, к ней лицом и стоит экипаж.

Экипаж каждый день строится вот так ликом к собственной судьбе в две шеренги по подразделениям, то есть по боевым частям и службам, в семь двадцать пять. Лениво. На эту лень отводится пять минут.

В семь тридцать начинаются первые команды командиров боевых частей, разборы, переговоры, шелест – это люди шелестят. Люди всегда шелестят в строю, как листья дерева при небольшом ветре. Через несколько минут подъем флага. Командира пока нет. Всем командует старпом – человек с каменным лицом. Такое лицо у него всегда. В этом кардинальное отличие старпома от других людей.

– Э-ки-па-ж... по подразделениям... в две шеренги... Становись!

Да стоят они уже, стоят.

– Рав-няйсь!..

Вы знаете, старпом – это рабочая гусеница. Потом она окуклится, потому что превратится в командира, у которого есть паруса. А пока она без усталости ест.

В основном говно.

Вы возражаете против этой сентенции?

А эти двое теперь уродуются перед КДП.

Нашим знакомым нужно переодеться в одно мгновение, для чего белая фуражка нервно срывается с головы и сейчас же зажимается между ног; а в это время портфель уже стоит на скамейке в курилке – она рядом с КДП – и он, тот портфель, судорожно распахан, раскрыт, и из него лихорадочно выхватываются флотские тапочки и то самое, сохраняющее от радиации, синее репсовое белье – курточка и брюки: оно сейчас же напяливается на себя (скачем на одной ноге, надевая эти брюки поверх тех своих брюк, в которых мы сюда прибежали,



потом курточку напяливаем сверху кителя, фуражка летит в портфель вместе с ботинками, а у Субботина там еще лежит пакет с печеньем), а затем из портфеля извлекается пилотка и нахлобучивается криво на башку, после чего она сейчас же падает в единственную на всю округу лужу, из которой потом подхватывается с шипением: «От, сука!» – и снова помещается на голову.

Все! Теперь бегом на пирс!

– На флаг... и гюйс... (рысью-рысью, а теперь на цыпочках, и по пирсу порхаем легко, здесь это называют: «на цырлах») Смир-но!.. (подбежали, обещали, пробрались, протиснулись, замерли).

– То-ва-рищ ка-пи-тан второго ранга... – это слышится дежурный по кораблю. Он стоит наверху, на рубке лодки, рядом с ним матрос с флагом. Флаг уже привязан к фалам – это такие веревочки (хорошо бы впопыхах не вверх ногами, а то часто именно так, потому что не всегда сразу ясно, где у него верх, а где низ) – и еще приспущен (речь идет о флаге). Дежурный обращается к старшему помощнику (слышны «пиканья» «точного времени») – время вышло!

– Поднять флаг! – говорит старпом, отдавая честь флагу.

– Фла-аг и гюйс... под-нять!.. – это дежурный.

Флаг поднимается, все замирают, офицеры в строю отдают честь.

– То-ва-рищ капитан второго ранга... прошу разрешения! – опять слышится дежурный с рубки.

– Вольно!

– Вольно! – общий слабый выдох.

И так каждый день.

А вы знаете, зачем каждый день на флоте надо выстраиваться в одну шеренгу перед подъемом военно-морского флага и по команде отдавать ему честь?

И почему в строю стоят все – и командиры, и подчиненные – на одной линии?



А потому что они равны честью – никто не выпячивается – командир равен честью матросу – все вместе они служат Отечеству. В чем и клянутся ему, и присягают в том. Каждый день ровно в восемь утра. Почему каждый день? Потому что каждый день может быть последним – честь караулит смерть-хозяйка. А по базе объявляется в громкоговоритель: «На флаг и гюйс... смирно! Флаг и гюйс... поднять!»

И где б ты ни был – пусть даже шел по дороге, брел, тащился – ты должен остановиться, повернуться лицом к морю, к пирсам, где стоят корабли, замереть и отдать честь – руку к головному убору.

Потом последует команда «Вольно!» – и можно будет опустить руку и продолжить движение.

Но мы покинем на время наших героев и перенесемся в поселок, в ту самую квартиру, где мы оставили девушку. Обычная квартирка, каких на севере немало – кухня, две комнаты. На кухне двое – мать и дочь.

– Ешь! – мать ставит перед ней еду.

– Не, не хочу, – она мотает головой и смотрит перед собой. На лице улыбка. Девушки в этом возрасте часто улыбаются не поймешь чему.

– Mam... – говорит она.

– Ну чего тебе?

– А у вас с отцом так же было?

– Что «так же»?

– Ну, внутри у тебя и хорошо, и спокойно, а потом смеяться хочется.

– Да, всё у людей всегда одно и то же.

– Мне, мам, очень хорошо.

– Вот и ладно.

– А интересно, как у него там сейчас?

– А зачем тебе это?

– А вдруг он обо мне думает?

– Думает. Ешь...

А действительно, как же там и у него? У него там старпом перед строем делает объявление.

– Внимание всего личного состава! – голос у старпома хриплый, грубый – После роспуска строя всем скопом вниз. Экстренное приготовление корабля к бою и походу, после чего обед в обычном порядке. По планам на сегодня: выход в море на двое суток, потом приход в базу и загрузка до полных норм. Вопросы есть? Нет вопросов. Вниз! Начать приготовление.

Все начинают спускаться вниз: проходят по трапу, отдавая честь флагу. Еще раз, и всякий раз, когдаходишь на корабль или сходишь с него. Так положено: отдавать честь флагу. Давно это повелось. Можно сказать, традиция. Ритуал.

А что на флоте ритуал? А ритуал на флоте почти все – повторяющиеся изо дня в день действия. Для чего они нужны? Они нужны для боя. Для того, чтобы человек в бою дышал спокойно. Он дышит спокойно только от того, что он каждый день повторял какие-то действия – тысячу раз. Это успокаивает, и перед лицом небытия не дрожат поджилки.

Честь отдается мимоходом (никто при этом не замирает), и это нормально, потому как здесь вам не надводный корабль, где вся эта внешняя чепуха важна необычайно, тут вам подводная лодка, где все, кроме дела, мишура, лишняя всякого смысла. Здесь ценится время, знание, умение, еще ценится ум, скорость соображения – и больше ничего.

Потом экипаж разместится по одному в затылок на узеньком бордюрике, опоясывающем рубку, и движется в нее, внутрь – там сбоку дверь в рубку.

Трап – небольшой, легкий, его еще называют здесь «сходня», с парусиной, натянутой на ограждение из стоек и лееров. Он подается с пирса на кор-



пус лодки. На парусине номер «153». Тот же номер на рубке лодки. Это бортовой номер, так сказать, ее позывные. Когда по УКВ вызывают: «Сто пятьдесят третий бортовой!» – имеется в виду этот самый номер. Он периодически меняется. Принято считать, что так запутывается враг. У лодки есть еще один номер, например, «К-259» – этот не меняется никогда, и внутри рубки он имеется в виде металлической нащепки на корпусе.

Сверху лодка оклеена специальной довольно толстой резиной, так что ботинки на микропоре на ней не скользят и можно ступить прямо на выпуклый бок лодки, мимо бордюрика, и пропустить встречное, например, начальство.

Начальство здесь всегда пропускается вперед.

А меня всегда удивляла эта способность – спойненько стоять на выпуклом боку лодки в ботинках. Кажется, что человек вот сейчас поскользнется и – только мы его и видели – сползет в воду, но нет, такое не случается, и встречный матрос, пропуская тебя, просто делает несколько шагов в сторону по крутому боку лодки так, что с непривычки у людей, увидевших этот фокус впервые, перехватывает горло.

А потом тыходишь в дверь в рубке.

При входе в рубку следует подниматься по маленькому трапику на небольшую площадку, потом – еще один трап, ведущий вверх – и вот мы у рубочного люка. Это основной люк, люк центрального поста. По нему можно спуститься прямо в центральный пост лодки. Сначала через длинную трубу – спиной в стенку, ногами по вертикальному трапу, а руками за поручни – попадаешь в боевую рубку, в ней во время боя может находиться командир – а потом ступаешь еще в одну трубу, и через мгновение мы уже в центральном посту – так сказать, в самом сердце лодки. Правда, сердцем лодки

иногда называют атомный реактор, но это бывает – у подводной лодки несколько сердец.

Двое наших друзей становятся в хвост очереди на спуск вниз. Стоять так на спуск внутрь надо минут десять, поэтому Танцор говорит Субботину:

– Пойдем на торец пописаем в великое море, а то я с этой очередью до низа не дотяну.

И они идут на торец пирса. Торец – это то, за чем начинается открытое море.

На торце можно остановиться, рассупониться и пописать. Они становятся и через мгновение уже журчат вместе.

– Турчанский! – это старпом зовет Танцора. И делает он это на всю округу. У старпома не голос, а рык.

– Тур-чанский!

Танцор торопливо пытается доделать начатое.

– Интересно, – замечает он, глядя на головку своего члена, – мне когда-нибудь в этом мире дадут спокойно поссать?!! Между прочим, когда меня посылали на эту планету, то обещали, что уж ссать-то я буду здесь вволю!

– Я кому говорю?!!

Танцор уже заправился и с небывалой готовностью подбегает к старпому.

– Вызывали, Валерий Иваныч?!

Тот спокойно кивает, берет его под руку и отводит в сторонку.

Старпом некоторыми своими повадками похож на динозавра. Думает и говорит он медленно.

Как гвозди вколачивает.

– Ну?

– Валерий Иваныч, вообще-то это была моя реплика...

Рожа у Танцора необычайно подвижная. Выражение на ней – отработанное недоумение. Кстати, в умении врать и представлять невинность, подводники далеко оставили позади любой театр.



- Я говорю: «Ну?»
- Валерий Иванович, вы меня изводите, как сказали бы классики.
- А в лоб кувалдой хотите, товарищ старший лейтенант? – у старпома взор спокойный и мутный.
- Валерий Иванович...
- Я те не Валерий Иванович...
- Вот и я говорю, товарищ капитан 2 ранга...
- Почему на вводе ГЭУ не был?
- Я был, Валерий Иванович.
- Сейчас как закачу... все-таки... в твой паршивый торец... и ни одна больница тебя не примет.
- Товарищ капитан 2 ранга.
- Ну?!
- Ну ей Богу...
- Господа нашего, вседержателя... и все царствие его небесное... не будем тревожить... из-за такой незначительной мелочи, как твоя малоприятная жизнь...
- Ну хорошо... ладно... но у меня стояла вахта, и ушел я в четыре утра, и к подъему флага... сами видели.
- Видели... скажи спасибо, что командир с утра в дивизии.
- Спасибо, Валерий Иванович.
- Не мне, дубина... обстоятельствам. И еще... – тут старпом взял его пальцем за пуговицу на кителе, придвинул к себе и продолжил со значением, – если он узнает, что ты с его доченькой спишь вместо ввода ГЭУ – нашей главной энергетической установки, с четырех утра и до подъема флага, он тебе яйца оборвет по самые пищеводы, и я ему в этом движении помогу с превеликим удовольствием.
- Валерий Иванович... я...
- Старпом, наклоняясь к его уху:
- На ваше «я» рифмы до х...я!
- Есть! Молчу, как трофейная лошадь.
- Как дохлая лошадь, балбесина! Ма-р-ш вниз!



– Есть вниз, (аккуратно) товарищ капитан 2 ранга!..

Лицо девушки. От глаз одни щелки. Груды маленькие и дышит она с трудом. Крупные капельки пота на лбу. Она сидит верхом на нем, и тело ее сотрясается.

Все это видится Танцору, а потом вместо девушки возникает дверь буфетной.

Усилие – и она отъезжает в сторону. За ней лицо вестового.

– Александров!

Александров – это вестовой, худой и смешливый парень. На Танцора он смотрит с готовностью и обожанием.

– Ты химик или как?!

Танцор голоден и разыгрывает представление ради куска хлеба. Завтрак давно закончился, но только не для Танцора. Александров его подчиненный. Он временно несет службу вестовым. Так что у Танцора в буфетной карт-бланш до конца недели.

– Паштет есть? (Александров кивает) А хлеб?

Дверь на пост химической службы, проще говоря, на ЦДП, открывается, в образовавшийся проем сначала осторожно въезжает огромный бутерброд с паштетом. За ним влезает Танцор. Мичман с кресла немедленно исчезает.

– Боевая тревога! – это команда центрального поста. Она подается по циркуляру во все отсеки, а потом в центральном принимают доклады о готовности этих отсеков к бою и наличию людей.

Наконец из переговорного устройства (оно здесь называется «Каштан») доносится: «Есть, пульта!» – пришло время для доклада с ЦДП.

– ЦДП к бою готов, присутствуют все! – Танцор доложил скороговоркой. Тут все говорят скороговоркой или поют на все лады. Тут важен даже не ответ вахтенного, а интонация, с которой он говорит. По ней центральный пост догадывается о том, что делается в отсеке.



Эта интонация может быть издевательской или быстрой, сухой, а может быть медленной, певучей – сколько людей, столько и интонаций, и принимающий доклады в центральном посту давно научился понимать, что за ней стоит.

Танцор откусывает огромный кусок бутерброда и вовремя. Дверь открывается, входит старпом. Он видит, что рот у Танцора забит так, что тут же прожевать и проглотить тот не в состоянии.

Старпом спрашивает: «ПДУ на борту?» – Танцор отчаянно кивает, таращится, ему никак не справиться с тем, что во рту.

Старпом вида не подает, что доволен этим обстоятельством, он мучает его дальше: «Я спрашиваю, ПДУ прошли проверку на герметичность?»

Танцор, бедняга никак не может совладать с захваченным в рот куском.

Наконец, старпом смилостивился: «С нами начштаба пойдет. Ему в каюту ПДУ и ИП», – потом он выходит, тяжелая железная дверь поста за ним закрывается.

Только теперь Танцор и прожевал. (Б-ля!) На глазах у него слезы.

– Есть пульт! – это ожил центральный. Он снова слышится в «Каштане» – наступило время следующего доклада.

– На ЦДП по местам стоять, корабль к бою и походу приготовить! – скороговорка, и Танцор отвечает издевательский поклон, втыкает электрочайник в розетку и начинает танцевать с остатками бутерброда в руке.

– Осмотреть кабельные трассы, системы ВВД, гидравлики, забортной воды, фильтры ФМТ-200Г! – опять оживает центральный пост. После такой его команды все должны разойтись по отсекам и осмотреть все, что он сказал.

Когда-то на одной лодке был пожар, горели кабельные трассы, а заодно горело все, что

на них лежало. Там было чему гореть. С того времени и ввели при приготовлении корабля осмотр кабельных трасс – остальное осматривали и до этого.

Если б Танцора спросили, куда он по этой команде смотрит, он бы сначала ткнул в кабельные трассы, потом – в клапан аварийного продувания ЦГБ, потом – в датчик гидравлики, показывающий, что давление в системе выше восьмидесяти, затем – в маленький клапан по забортной воде («кажется, это к штурманскому лагу») и потом уже в систему управления фильтрами ФМТ-200Г – пульт управления и прибор температуры торчат перед самым носом.

Этот фильтр дожигает угарный газ в углекислый, и при этом он сам иногда горит – так что за всем этим нужен глаз да глаз. От съеденного бутерброда и кружки крепкого чая как раз глаза-то у Танцора и начинают закрываться, и он клюет носом.

Именно в этот момент к нему на пост врываются трюмные. Их трое, и они бросаются к ручному клапану продувки ЦГБ. Танцор вскакивает на ноги.

– Трюмные! – кричит он, полупридя в себя. – А стучать в дверь дядя будет?

Предводителем этой бандой трюмачей старшина команды. Он хитро подмигивает Танцору и говорит:

– Спите на боевом посту?

– Я сейчас кому-то в лоб дам со всего размаху, чтоб знали, как себя вести!

– Ладно, ладно! – трюмным нужен только клапан, и они улыбаются. – Сейчас исчезнем! – и исчезают. Сейчас будут продувать ЦГБ воздухом высокого давления (который ВВД) прямо у пирса. Ох и зрелище, я вам доложу: из-под воды сначала нарастает гул, отчего неподготовленный к этому гулу народ обычно подходит поближе, ну совсем как куры к удаву, чтобы рассмотреть и прислушаться, и в этот момент с дикой силой из-под воды вырывается



столб из пены и брызг – это продули ЦГБ такой-то группы и облили любопытных с ног до головы..

А ЦГБ – это цистерны главного балласта. Их так продувают, чтоб кингстоны на цистернах от всякой дряни освободить, ну и так, заодно проверить жизнь.

– Проворачиваются обе линии валов! От линии валов отойти! – это опять центральный пост ракетно-ядерного исполина.

Ох и проворачиваются обе линии валов, ох и проворачиваются – вода закипает за кормой. Там два винта. Бронзовые и красивые. Два огромных винта – не дай бог под них попасть, разорвет в лохмотья.

– Уже отошли! – бормочет Танцор, и устраивается в кресле. Он закрывает глаза, и ему снова хочется увидеть девушку – ни черта не выходит.

– Чтоб вы сохли! – бормочет Танцор и это не относится ни к кому, просто у него не получается с видением. Всегда получалось, а сейчас – никак.

– По местам стоять к проверке прочного корпуса на герметичность! – опять центральный.

– Да стоим мы, стоим! – ворчит Танцор, с видением девушки и теперь ни хрена не выходит, точно и не было ее никогда. Странное дело служба – гражданские видения тут отбивает напрочь – другой мир.

– Что ж это? – Танцор трет лицо ладонями и опять затихает в кресле с закрытыми глазами.

– ЦДП? – центральному плевать на его видения.

– Есть, ЦДП! – Танцор уже ожил.

– Открыть переборочные захлопки по вытяжной!

– Есть, отрыть переборочные захлопки по вытяжной! – Танцор шелкает выключателем. – Открываются захлопки по вытяжной! Открыты переборочные захлопки, можно сказать, по вытяжной!

– Открыть первый и второй запоры!

– Открываются первый и вторые запоры.



Все это для проверки корпуса лодки на герметичность – открываются захлопки, запоры, задраиваются все люки и пускается вытяжной вентилятор.

Он гонит воздух из лодки по трубам вытяжной вентиляции, создавая внутри разрежение. Потом закрываются запоры, потом...

– Стоп вентилятор! – и закрываются переборочные захлопки. Потом команда центрального:

– Слушать в отсеках!

В отсеках слушают, потом по очереди докладывают в центральный пост.

По падению вакуума судят о герметичности лодки – вот такая проверка.

– Подводная лодка герметична!

Ну слава тебе, Господи! Сколько раз я слышал подобное, и каждый раз сообщение о ее герметичности успокаивало меня необычайно.

– Боевая готовность два!.. Третьей смене заступить!.. От мест по боевой тревоге отойти!.. Первой смене приготовиться на обед!..

Обед сегодня будет пораньше, и он будет на борту. До обеда надо доложить в центральный о готовности к выходу. Надо дожидаться смены, вылезти из ЦДП, подняться по трапу в центральный пост, подойти к старпому, представиться и сказать: «Химическая служба к выходу в море готова, присутствуют все!» – потом можно идти на обед.

Он будет во втором отсеке, в кают-компании, надо только кремовую рубашку на себя надеть. Обедать – тут говорят «принимать пищу» – надо в ней. Обычно она в каюте весит.

Танцор переоделся и поднялся в кают-компанию. При входе в дверь надо спросить разрешения: «Прошу разрешения в кают-компанию» или только «Прошу разрешения» – и так всем ясно, куда оно просится. На лодках принято экономить слова. Это хорошая привычка. Вдруг пожар или взрыв – а



ты еще не научился быстро говорить, отбрасывая лишнее.

При входе Танцор прежде всего поймал взглядом командирское кресло – а что если старпом не зря его предупредил и командир в курсе, кто на сегодня его девушка? Кресло было пусто – командира еще нет.

С огромным облегчением Танцор проследовал на свое обычное место в углу, на диване. Настроенное у него тут же улучшилось, поднялось.

Интересное дело, и почему это поднимается настроение тогда, когда ты ожидал неприятность, а она во время не появилась?

Но так было всегда, и так будет всегда, пока есть на свете военно-морской подводный и атомный флот.

Женька Субботин, командир первого отсека, минер и по совместительству командир носовой швартовой команды, плюхнулся в кресло напротив Танцора. Он уже был одет в водолазное белье – ему предстояло провести на ветру немало времени, пока лодка не пройдет узкость.

Вы знаете, что это означает: пройти узкость?

Узкость лодка проходит на выходе из базы в надводном положении – опаснейшее это дело, может снести на камни. Буксиры работают, чтоб этого не случилось, оба атомных реактора тоже работают, швартовые команды наверху в полной готовности – все механизмы и люди работают; одновременно все они сидят или стоят по боевой тревоге – вот что означает проход узкости.

А за ней – великое море. Вы не были в великом море? Считайте, что вам повезло.

Море – это соленый ветер, качка и волны, которые бьют в борт корабля, как кувалдой – такая у волны сила. Она сминая железо, как картонную коробку, и десять тысяч тонн водоизмещения для нее ничего не значащая величина.



– Чего так быстро оделся? – еда Танцора расслабила, и теперь он еле языком ворочал.

– Поесть спокойно не дадут. Звонили из штаба – командир и начальник штаба сейчас подъедут, и мы сразу отходим.

– Что за спешка?

– А кто его знает? Может, в график не укладываемся.

«Швартовным командам приготовиться к выходу наверх!» – прошла команда центрального поста.

– О! Не успели сесть, уже зовут!

– Я быстро! – Субботин торопливо закидал что успел в рот, вскочил и побежал.

Танцор тоже вскочил, потому как такие команды центрального поста означали, что командир и начальник штаба уже на борту, а с командиром, как говорит нам опыт, без особой нужды лучше не встречаться.

Танцор столкнулся с командиром при входе в кают-компанию, он посторонился, стараясь не встречаться взглядом. От командира это не укрылось.

– Всё в порядке, начним?

– Так точно, товарищ командир.

Танцор испытал огромное облегчение, проскользнув мимо командира на свой боевой пост.

«Швартовым командам выйти наверх! По местам стоять, со швартовых сниматься!» – эти две команды застали Танцора уже в кресле, глаза его уже теряли мысль, и доложил он на автомате:

– На ЦДП по местам стоять, со швартовых сниматься!

– Боевая тревога! По местам стоять, узкость проходить! – а эта команда почти погрузила его в сон.

– На ЦДП по местам стоять, узкость проходить!



Сколько потом прошло времени, не знает никто, потому что время растянулось, стало мягким, податливым. Тело Танцора растеклось по креслу окончательно – лодка пошла, ее чуть покачивало – значит, прошли скалы и вышли в море.

Танцор почти уже засыпал, когда все его тело ощутило удар. «Волна», – успел подумать он и в тот же миг проснулся – по лодке прошел звонок или сигнал – какой – это он спросонья не понял. Но только ощутил всем телом: что-то случилось. В центральном отчаянно закричали: «Человек за бортом!» – а потом к Танцору на пост ворвались трюмные с криком:

– Смыло!

– Что? Кто? Кого? Куда?

– Носовую швартовую команду волной смыло!
За борт!

– Как? Мы же узкостью шли. Минут двадцать...

– Всю! Так двадцать минут давно прошло! Они уже вниз должны были спускаться – и тут волна! Всех шестерых с одного удара!

– А Субботин?

– Всех смыло! Говорю же! Буксиры сейчас пытаются их поймать, только где ж они их найдут в море!

– Буксиры?

«Женя!» – Танцор вылетел из ЦДП и по трапу влетел в центральный пост – там всем было не до него. В центральном царил полный хаос – все говорили одновременно.

Танцор взвился по вертикальному трапу вверх и выскочил наверх. Он ни о чем не думал, в висках стучало только одно: «Женя! Женя!»

Его заметил только старпом: «Куда! Турчанский! Назад!»

Танцор добрался до рубки, лодка шла в надводном положении, и перед ним открылось море, и

вдруг, где-то там между серыми волнами, он увидел человека в оранжевом жилете – «Женя!».

Как он оказался в воде – этого Танцор не помнил. Он просто бросился в воду и поплыл. Он совершенно не чувствовал того, что вода очень холодная, он вообще ничего не чувствовал, ему, наоборот, казалось, что она просто кипятком. Он плыл, а в мозгу билось: «Женя! Женя! Женя!»

Он доплыл. Это был не человек. Это был сорванный с кого-то оранжевый спасательный жилет.

С мостика доложили: «Человек за бортом!»

В центральном посту в это время добавилось крика. Кричал командир, кричали все:

– Какой еще человек?

– Турчанский выскочил наверх!

– Как Турчанский? Почему он наверху?

Только старпом сохранял самообладание:

– Он спасать Субботина бросился, товарищ командир.

– Как спасать? Он что? Идиот?

– Конечно, идиот. Но только он в тот момент об этом не думал. Друга полез спасать.

– Мостик!

– Есть, мостик!

– Что с Турчанским?

– Не видно его!

– Передать на буксиры: искать семь человек!

– Есть, передать на буксиры!

– Товарищ командир, с буксиров докладывают: подняли троих.

– Живы?

– Уточняем! Товарищ командир, оперативный передает приказ: нам следовать в базу.

– Есть, следовать в базу! Как буксиры?

– Уточняем, товарищ командир.



Лодка ошвартовалась к пирсу. На пирсе ее уже ждали: комдив, штаб – все. Буксиры доложили: подняли пятерых, все в тяжелом состоянии, переохлаждение. «Скорая» приняла их с буксиров и повезла в госпиталь.

– Что с двумя?

– Турчанский и Субботин не найдены, товарищ комдив! – доложил командир.

– В штаб! Немедленно. Буксирам искать двоих! Командира увезли в штаб.

В штабе, в каюте комдива совещание – комдив, командир, офицеры штаба. Все молчат, уставившись в пол.

– Как получилось, что за бортом оказался начхим? – спросил, наконец, комдив.

– Бросился спасти Субботина.

– Почему его выпустили? Что у вас за организация в центральном посту! Почему это произошло?

– Товарищ комдив...

– На хер, товарищ комдив!

– Я...

– Я спрашиваю, как этот сранный химик оказался за бортом?!!

По городку весть разлетелась в один момент.

– На двести пятьдесят девятой смыло за борт швартовную команду!

– Всю?

– Всю! Семь человек!

– Так их же там шесть!

– Седьмой, мудака, бросился спасать, и его смыло. Буксиры подобрали пятерых, сейчас их в госпитале пытаются реанимировать.

– А эти двое?

– Двоих не нашли.

– Давно они в воде?

– Часа три.

– Это всё! Не найдут. Или трупы выловят. Так долго в воде не живут.



- Чей это экипаж?
- Павлова.
- Конец командиру. Под суд пойдет.

Под суд, под суд, конечно, под суд.
Командира у нас всегда отдают под суд.

Тяжелое это дело – быть командиром. Кто-то командует, водит корабли, не спит ночами, вскакивает, вздрагивает, теряет сознание от напряжения, а потом случается нечто, и уже прокуроры, которые никогда и ничем не командовали, не водили, не отвечали, не вздрагивали, оценивают: так ли он вскакивал по ночам, как это было предусмотрено приказами, уставами, инструкциями и наставлениями.

Жена командира Павлова вошла в квартиру и прислонилась к стене. Лена ее встретила в прихожей.

- Мама...
- Двоих не достали. Твоего Танцора и Субботина. Танцор за ним в воду прыгнул.

Лена осела по стене. Мать сбросила с себя плащ на пол, рывком подняла ее и усадила на стул, шатаясь, пошла на кухню за водой, принесла стакан:

- Пей.

Лена послушно выпила:

- Ма...
- Отца судить будут, а этих теперь не спасти, поздно. Уже три часа прошло. Не выдержат они в холоде.

В этот момент и раздался этот вой.

Вы никогда не слышали, как воют женщины, потерявшие мужа, брата, сына?

Лучше бы вам никогда и не слышать.

Темнота и холод внутри. Отчаяние – это и есть холод внутри. Тем, кто его испытал, кажется, что он не окончится никогда.



Танцор плыл и плыл. Серые волны, серая вода.
Волны встают вокруг – ни черта не видно.

«Женя! Женя! Женя!»

Он видел, что лодка ушла, он видел, что ушли буксиры. Танцор остался один.

Но нет, не один. Есть еще Женька, и он его найдет. Обязательно. Надо плыть, Женька где-то здесь. Не может быть, чтоб он его не нашел.

В холодной воде тело стискивает, как железным обручем. Холодная вода – это очень больно. Но это больно только в том случае, если ты замечаешь холодную воду.

Танцор не замечал. Он плыл.

Плыл ли ты, читатель, когда-нибудь в океане, когда под тобой глубина в несколько километров, и когда в воде темно, как в дыре, и все время кажется, что оттуда на тебя кто-то смотрит? Я плыл, но тогда вода была теплая, а вот Танцор плыл в холодной воде, и он ее не замечал.

В дверь позвонили – жена командира открыла – за дверью стояла молодая женщина.

– Я Субботина Дарья, жена минера, Анна Григорьевна, вы что-то знаете?

Жена командира взяла женщину за руку и молча затащила ее в квартиру – дверь захлопнулась.

Женщины сидели за столом на кухне – Анна Григорьевна, Субботина и Лена. Перед всеми были чашки с чаем, чай никто не пил.

– Я его сегодня даже не проводила, – говорила Субботина безразличным тоном, – сказала только, чтоб печенье взял. Они с Танцором на службу побежали.

Услышав про Танцора, Лена было всхлинула, но мать на нее так зыркнула, что она вся сжалась и подавила свой всхлип.



- Сколько их еще будут искать?
- Еще сутки.
- А потом?
- А потом – без вести пропали.
- Что командиру будет?
- С должности снимут и под суд.
- Он-то при чем?
- Командир всегда причем.
- Ко мне уже соболезнующие от командования приходили.
- У них должность такая: одни в море ходят, другие судят тех, кто в море ходит, а третьи соболезнуют семьям тех, кто ходит в море.
- Анна Григорьевна, можно я к вам еще приду?
- А сейчас куда собралась?
- Пойду я.
- Сиди. Дети дома?
- Нет.
- Вот и сиди. Мне новости первой приносят.

Танцор нашел Женьку. Точнее – он в него ткнулся.

- Женя! – голос Танцора был настолько слаб, что он сам его не узнал.

Но Женя ответил:

- А!

Глаза его были закрыты, жилет спасательный раздуло, и он плавал, как поплавок.

- Жив?

- А! – и дальше Субботин только мычал.

- Женька! – заорал Танцор – к нему вернулся голос. – Давай! К берегу! Тут недалеко. Тут рядом. Я тебя дотащу. Я дотащу тебя, Женя!

С этого момента они и плыли к берегу. Точнее, Танцору казалось, что он плывет и тащит за собой Женю. Женя молчал, это было совсем плохо.

- Ты не молчи! – тараторил Танцор, или ему только казалось, что он тараторил, потому что голос опять пропал. – Женя, не молчи! Женя, говори!



Женя, представляй себе лицо жены! Это помогает. Я знаю! Давай, давай!

Интересно, что он там знает, этот Танцор, и какое там лицо, если он никогда не был женат и не знает, каково это любить и отвечать за другого человека. И еще он никогда до этого не плавал в ледяной воде – в сентябре вода в заливе не выше плус четырех, и это очень больно.

Он толкал, пихал Женю, пихал. Они двигались. Очень медленно, а потом – их накрыло волной.

Сколько они барахтались – час, два, три? Этого не знает никто, потому что время в такие моменты пропадает, сознание пропадает и все чувства пропадают, вообще всё пропадает.

А что остается?

Остается работа. Смерть – это тяжелая работа, и ее надо выполнить, прежде чем ты умрешь.

– Ни хрена мы не умрем! Ни хрена! Слышишь, Женя? – Танцор приходил с себя и бормотал, бормотал, а их в это время накрывало волной, переворачивало, било.

И вдруг их ударило о скалу – она была под водой, что-то твердое, тяжелое.

– Скала, Женя! Скала!

Скала могла означать, что рядом берег, или ничего не могло означать, потому что не видно же ни черта – из воды голова еле торчит, и потому что все заслонила эта скала, которая стремительно выросла из воды, и откуда она взялась – это тоже провал в памяти. А потом, за скалой Танцор увидел полосу земли.

– Земля, Женя! Мы добрались! Мы...

Он выволок Женю на берег, за шиворот, как мешок. Силы оставили, и они просто рухнули друг на



друга, а потом Танцор сделал над собой нечеловеческое усилие и встал.

– Женька! – Женька не дышал. – Женька!

Ухо к груди – сердца не слышно, дыхание рот в рот – и в этот момент Женька открывает глаза – жив!

– Жив? Жив! Вставай сейчас же, сука! Хватит валяться!

Сколько времени они вставали – не подсчитать. Они перекатывались, вставали на четвереньки, падали, опять перекатывались, опять на четвереньки, потому что не работали же ни ноги, ни руки. Точнее так: вставал Танцор, а потом он пытался поставить на ноги Женьку, а потом Танцор падал, и всё начиналось с самого начала.

– Женька!

Женька не говорил, он что-то мямлил.

– Поднялся? Хорошо! А теперь побей ногами о землю. Можешь? Нет? Ну вот же, вот так! Ноги должны прийти в себя! Ноги должны! Сейчас они согреются...

Сейчас. Согреются, конечно, чего бы им не согреться. День еще на дворе, ветер, солнце и температура около двадцати градусов. Обязательно согреемся.

– Надо танцевать! – идиотская мысль, но Женька почему-то сразу начал перебирать ногами, вряд ли это можно было принять за танец.

– Ты танцуешь, Женька! Ты танцуешь! – Танцор орал, но толку было мало.

Он обнял Женьку, и они поплелись вдоль берега.

– Тут недалеко! Тут рядом!

Рядом – это сильно сказано – километров двадцать, потому что вдоль скал и по тундре. А по прямой – километров семь, но это только для птиц.



– Я не могу! – сказал Женя через час. Они шли час или что-то около того, точнее, пытались идти.

– Можешь! Я тебя, блядь, зря что ли из воды вытащил, чтоб ты, сука, вот так тут сел, уснул к едрене матери и помер? А? – Танцор взял его за грудки и встряхнул, вернее, попытался взять, сам сел с ним на камень и от злости захныкал.

– Женька! Давай! Тихонько! Тихонечко! Давай! Ногами перебирай!

Они брели по тундре. Если б Танцора спросили, куда он идет, он бы ответил, что прямо – там, за сопкой, был поселок, он был в том уверен.

– Поселок там, Женя! Давай! Давай! Мы скоро просохнем, надо больше двигаться!

Легко сказать – просохнем, ничего не сохло.

– Надо идти!

– Танцор!

– Я!

– Я не могу!

– Можешь, сволочь! Можешь, скотина! Что я, сука, твоей Даше скажу?

– Скажешь, что я не могу!

– Я тебя понесу! Ты хочешь, чтоб я тебя нес?

– Нет!

– Ну тогда сам иди, сволочь!

– Хорошо живет на свете Винни-Пух, от того поет он эти песни вслух! Помнишь песенку?

– Нет.

– Надо петь! Надо петь! И Дашино лицо вспоминай!

– Нет!

– Что, нет? Вспоминай!

Прошло еще полчаса.

– Я не помню лица.

– Какого лица?

– Дашиного!

– Это ничего, сейчас вместе вспомним. Вот я вспомнил! Давай теперь ты.



- Танцор!
- Ну?
- Ты дойдешь. Ты Даше передай...
- Сам передашь, хрен ли тут идти! Хочешь рядом с поселком подохнуть?
- Пашка, ты сумасшедший!
- Конечно! Нормальный в воду за тобой не прыгнул бы! Подыхай себе на здоровье!
- Подыхай? На здоровье? – и тут Женя рассмеялся, точнее, попытался это сделать и сразу закашлял.

Ну наконец, Женя начал приходить в себя. Человек приходит в себя, когда старается рассмеяться.

- Хорошо живет на свете Винни-Пух! От того поет он эти песни вслух! Подпевай!
- Хорошо живет на свете...
- Винни-Пух!
- Винни-Пух...
- Легче же, правда?
- Правда...
- Сейчас мы еще с тобой станцуем.
- Руки не чувствую.
- Это ничего, сейчас разойдутся.
- И ноги...
- Это тоже ничего. Хорошо живет на свете Винни-Пух!
- Винни-Пух... – Женя начал падать, Танцор его подхватил, они сели на ягель.
- Нельзя сидеть, вставай! Пошли!
- Пошли...

В поселке тем временем женщины бегали друг к дружке и разносили вести.

- Анна Григорьевна! Поиск прекратили!

Даша, которую Анна Григорьевна домой одну не пустила, медленно осела на стол. Лена зарыдала. Анна Григорьевна махнула в дверь рукой – уходи – захлопнула дверь и бросилась приводить в чувство обеих.



В штабе в этот момент проходили бесконечные совещания у командира дивизии. Командир Павлов во всем этом участия не принимал, он просто сидел и смотрел в пол – его от всего отстранили, экипаж его сидел на борту, на корабле работали следователи прокуратуры и военные дознаватели – опрашивались все, кто имел к происшедшему хоть малейшее отношение.

Танцор с Женькой поднялись на сопку. За сопкой должен был быть виден поселок.

– Он там! Давай!

Когда они поднялись, то увидели, что поселка за сопкой нет.

– Значит, он за другой сопкой! Тут заблудиться невозможно!

С сопки они просто скатились, ноги под гору не держали.

– Вставай!

Встали и снова пошли.

Они шли двадцать часов. Через двадцать часов в поселок с сопки спустились две странные фигуры. Они еле перебирали ногами, поддерживали друг друга и не могли говорить.

В начале сентября на севере еще полярный день, темнеет поздно, а рассвет начинается очень рано. Было уже светло, но на улицах поселка не было ни одного человека. И вдруг какое-то окно распахнулось, и в него выглянула чья-то голова, потом она поспешно бросилась вглубь комнаты. И вот уже открылось другое окно, кто-то охнул, и потом уже начали открываться и открываться окна и двери, и на улицу повалил народ.

Людей становилось все больше. И скоро Танцор и Женька шли уже, а вокруг них были люди, но все

молчали. Пашка и Женя, никого не замечая, шли вперед, и люди молчали и шли рядом.

А потом, непрерывно сигналив, подъехала «скорая», женщины побежали.

– Анна Григорьевна! Анна Григорьевна! На площади они!

– Кто?

– Танцор с Субботиным!

– Господи!

А потом «скорая» их увезла в госпиталь.

Вот и вся, собственно, история.



Печать апостола

Жили-были по соседству два человека. Один вел, как он полагал, очень праведный, богобоязненный образ жизни, продиктованный евангельскими заветами, другой жил обычной жизнью, такой, какую ведут большинство людей на земле. Иногда они случайно пересекались во дворе, сдержанно здоровались и... снова расходились, и каждый продолжал дальше свой нелегкий путь. Бывало, соседи даже перекидывались двумя-тремя словами, но это случалось крайне редко. Надо признать, что тот, кто жил обычной жизнью, немного побаивался своего соседа, особенно когда бывал трезв. Вечно отрешенный от мирской суеты взгляд последнего почему-то напоминал ему о бренности человеческого бытия. Он не считал себя грешником, но признавал за рьяным богомольцем великую праведность.

Праведник, назовем его Петром, с детства рос богобоязненным. В семье Пети все были людьми фанатично верующими, регулярно хаживали в церковь, стараясь не пропускать ни одной мало-мальски значимой службы. К этому их всех приучила его бабушка – женщина в высшей степени набожная. Она



**ВАЛЕРИЙ
БРОДОВСКИЙ**

Проза





ничего не делала, прежде чем не перекрестится. Даже усаживаясь за обеденный стол, бабушка, по старой крестьянской традиции, отдав хвалу Богу за хлеб насущный, что он послал им в этот день, непременно осеняла себя крестом, не забывая отдельно перекрестить рот. По ее заверению, без божьего благословения в него ничего не должно было попасть. Как же, наверное, она не любила семью дяди Коли – пьяницы и дебошира, который жил в соседнем подъезде их старенькой «хрущевки» и чей сын Фома был ровесником ее внука Петеньки.

Фома в церковь не ходил, впрочем, как и вся его родня. По воскресеньям, когда семья Пети, нарядившись в свои лучшие одеяния, направлялась к собору, ватага хулиганистых мальчуганов, возглавляемая Фомой, следуя за ними в некотором отдалении, освистывала Петю, одетого в отутюженный до блеска костюмчик.

– Гы-гы-гы! – смеялись они, подтрунивая над ним.

– Ой, не могу! – заливался больше всех Фома. – Ты че вырядился в этот мешок, Петюня? Воскресенье же! Айда с нами на реку рыбу ловить!

– Никуда твой боженька не денется! – вторили ему его чумазые товарищи. – Смотри, не пойдешь с нами, завтра в школе кровянку из носа пустим! – гоготала детвора.

Петя рос слабеньким и боялся кровянки, поэтому старался избегать мальчишеских потасовок. К тому же бабка его постоянно поучала, что драка – ужасное, богопротивное дело и Боженька обязательно накажет за это.

Он часто слышал от нее эти страшные слова: Бог накажет! Съешь лишнюю конфетку – не объедайся, Бог накажет! Заглядишься на соседскую девчонку – Бог накажет! «Ишь ты, как его к блюду-то тянет с малолетства!» – возмутится, бывало, бабушка, а вслед за ней и отец с матерью укоризненно покачают головой. – В кино не ходи, там дурному научат, а за это Бог накажет.



Петя еще не знал, как наказывает Боженька, но частое наказание, получаемое от своей бабушки, угнетало и страшило его. Оно, как правило, исполнялось немедленно. Мальчиком он знал наизусть все углы в доме и очень страдал, когда его ставили голыми коленками на горох. Плакать ему не разрешалось, за это Бог также мог наказать.

– Верующий человек, – говаривала бабка, – должен быть стойким, вот как твой отец. Он, между прочим, тоже все детство простоял на коленях и, как видишь, ничего, не умер. Зато какой покладистый вырос!

Бабушка души не чаяла в своем взрослом сыне, который практически ни разу в жизни не отважился ей перечить, во всем следуя ее линии жизни. Только почему-то Пете казалось, что отец его был человеком глубоко несчастным и... подневольным. Но едва стоило бабушке куда-нибудь отлучиться на несколько дней, как отец оживал и начинал брюзжать на них с мамой. Признаться, он сильно отличался от других людей и, наверное, потому их не любил. Впрочем, мать Петеньки также отличалась от остальных женщин их двора. Она совсем не умела веселиться, как, например, тетя Валя – мама Фомы. Эта добрая и веселая женщина при встрече часто угощала Петю медовыми пряниками, которые он потом украдкой от своих родных съедал вместе с сестренкой. В его семье детей старались не баловать, воспитывая сдержанность во всем. Сладости в их доме появлялись вроде редкого поощрения. Соседи такое воспитание называли аскетическим.

– Твои мысли становятся твоей жизнью, – говаривала бабушка. – Не держи ничего худого в голове и умей отказывать себе во всем.

Когда Петя стал чуть постарше, в нем пару раз проявился дух бунтарства, когда он нарушил сонное спокойствие своей семьи. Однажды он принес игрушку – маленькую машинку, которую нашел в школьном дворе. Бабушка, конечно, предположила,



что Петя ее украл. В другой раз в его портфеле оказалась подаренная одним мальчиком рогатка. Каждый раз наказание следовало немедленно и было самым строгим: помимо стояния на горохе, Пете надолго запретили смотреть мультики – единственное, что им с младшей сестрой время от времени позволялось.

Папа с мамой в его воспитание почти не вмешивались, считая, что бабушка с этим справляется лучше. Вырастила же она одного правильного человека!

Тетя Валя, соседка, говаривала, что Петина мама раньше не была такой, но жизнь с его папой и бабушкой ее изменили.

– В девчонках она веселая была, озорная, да вон как вышло, – вздыхала тетя Валя, украдкой засовывая ему в карман очередной пряник или большую шоколадку.

– Да, жизнь – не ручей, вброд не перейдешь! – покачивали головой ему вслед некоторые женщины с их двора.

– Чужая семья – потемки! – отмахивались другие, коим была абсолютно безразлична судьба чужих детей.

Петя чувствовал, что многие соседи жалели его, только не мог понять, почему, ведь его семья была самая правильная. Никто, кроме них, в церковь не ходил, молитвы не читал и даже не постился в Великий пост. Отец Пети никогда не пил и даже не курил. В их семье не скандалили, как это часто случалось, например, в семье Фомы. Конечно, иногда Петя огорчал родных случайными тройками или разорванным после футбола ботинком, за что снова и снова бывал наказан углом и демонстративным презрением бабушки, но других детей наказывали чаще. Иногда мать заступалась за него, но тихий, едва слышный цык отца, за которым неизменно следовали долгие поучения, доводил ее до нервного потрясения, и тогда в их доме густо пахло валерьянкой.



Однажды проходившая мимо их окон тетя Валя случайно подслушала разговор Петиных родителей. Его отец, как всегда, пугал свою жену всеми карами неба.

– Думай о спасении души! – говорил он ей назидательно. – Неровен час, и диавол призовет тебя в свои ряды, ежели будешь перечить мужу.

Не сдержавшись, мать Фомы зашла к ним в квартиру и высказалась:

– Уж лучше бы ты ударил жену, что ли, чем так мягко, словно подушкой, душить всю жизнь!

Петя тогда все слышал. Он обиделся на соседку за своего отца. «Какая злая! – думал мальчик. – Чего возжелала! Чтобы отец поднял руку на мать?!» Он был еще совсем юн и не понимал, что значит «всю жизнь душить подушкой».

Лишь младшая сестренка Настена, осмелев с годами, бесстрашно заступалась за братика, открыто высказывая бабушке и отцу:

– Петя – хороший! Вот вырасту, уеду от вас и заберу его с собой.

Он и вправду рос хорошим мальчиком. Никто в их дворе ничего дурного не мог сказать о нем. Знали бы все люди, какой на самом деле был добрейший человек Петя! Каждый раз, когда дядя Коля порол за очередной проступок своего сына и весь двор сотрясаясь от криков и плача Фомы, Петя усердно молился за него. Он вообще часто молился за соседских ребят, когда тем доставалось от их родных, и всегда со страхом ждал, что Боженька вот-вот накажет этих глупых мальчиков за их греховные провинности. Только Бог почему-то никогда никого из них не наказывал. Бабушка на это говорила, что у Господа нашего в его небесной канцелярии для таких хулиганистых особ есть специальные люди, которые записывают все их проступки в особые книги, и когда-нибудь, когда грехов накопится много, Он их обязательно призовет к ответу. Петя сам старался не оступаться. Уж очень он боялся по-



пасть в эти самые книжки. Ему наказаний хватало и от родни.

– Ничего, рука у Боженьки тяжелая! – говорила бабушка, беспрестанно крестясь и закатывая глаза к небу. – Накажет – мало не покажется.

Так и вырос Петр богобоязненным человеком, каждое утро просыпаясь с одной мыслью: только бы не согрешить. Сначала их семью оставила его младшая сестра Настена, удачно – как уверяли родители – выйдя замуж за сына знакомого священнослужителя. Со временем, родив несколько детей, его сестра действительно стала казаться счастливой. Иногда он получал от нее письма, а когда появилась мобильная связь, брат и сестра время от времени перезванивались. О своем детском обещании выросшая Настя давно позабыла.

Следующей ушла бабушка, перебравшись в мир иной. Будучи всю жизнь опорой для своих родных, она тем самым навсегда привязала их к себе и своим принципам. «Верующий создает Бога по своему подобию, – говорил Жюль Ренар. – Если он уродлив, то и Бог его – нравственный урод». Петр Ренара не читал и был уверен, что его бабушка – самая святая женщина на земле, поэтому горько плакал над ее могилой. Он никак не мог согласиться с тетей Валей, которая считала, что его бабушка, повинувшись каким-то своим тайным страхам и комплексам, отняла у него обычное детство.

Прожив долгую жизнь, старая женщина действительно умерла в страхе перед божьим наказанием за то, что однажды в молодости согрешила с одним заезжим командировочным, о чем не успела покаяться перед тогда еще живым мужем. Лишь только перед самой смертью она поведала, для облегчения души, эту тайну своей невестке – Петиной маме – да попу.

Хоронили бабушку знатно, всем двором. Над ее гробом сам батюшка Василий из их приходской церкви читал молебен. Постепенно, один за другим,



и его родители покинули этот бренный мир, отправившись к Отцу небесному. Петр остался один в своей большой квартире. Вечерами, слоняясь из угла в угол, он пытался вспоминать что-нибудь веселое из своего прошлого, но на память приходили лишь сестренка с большими улыбчивыми глазами да кот Рыжик, которого великодушно разрешила держать бабушка и который давно уж окошел. Жила семья тихо, незаметно, каждый как мышь в своем уголке.

Он по-прежнему посещал церковь, находя в ней ответы на все жизненные вопросы. Храм приносил ему душевное успокоение. Из старых дворовых дружков к тому времени мало кто остался: одни разъехались кто куда, другие загубили свои жизни – кто по тюрьмам, а кто спился или умер от наркотиков. Остался лишь Фома, который в положенное время, как и подобает, отслужил в армии, затем обучился заводской профессии, а вскорости обзавелся семьей и был счастлив, повторяя судьбу своих отца и деда и многих миллионов людей в стране. Зла старался никому не делать. Бога чтил в душе, но в церковь не ходил и молитв не знал. Как мог, почитал отца и мать своих, покуда живы были.

Отслужил срочную службу и Петр, где его пару раз заставили на учениях пострелять из автомата, за что потом, по ночам, прячась от сослуживцев под одеялом, слезно просил у Бога прощения. Он, как и в детстве, боялся божьего наказания.

После службы молодой человек нашел себе несложную работу, получал за нее достаточно, чтобы хватало на пропитание да одежонку какую-никакую справить, и жил тихо, никому не мешая, продолжая усердно молиться да в свободное время изучать духовные книги. Петр неплохо учился в школе и при желании мог с успехом получить высшее образование, но образовываться дальше, дабы получить престижную профессию, не захотел, искренне полагая, что должность инженера или, к примеру, врача будет отнимать много времени и он не всегда



сможет ходить в церковь. «Вдруг, – думал молодой человек, – будут случаться дальние командировки или, скажем, воскресные дежурства у врачей!»

Когда подошло время подумать о женитьбе, Петр с некоторым душевным облегчением убедил себя, что его зарплаты на содержание собственной семьи не хватит. «И потом, семья, – размышлял он, – требует большой осмотрительности. Вдруг супруга окажется женщиной недостойной или, хуже того, будущие дети попадут под влияние дурной компании! У них ведь не будет моей бабушки!» Так и не решившись взваливать на себя ответственность за семью, молодой человек просто отказался от этой мысли и никогда об этом не сожалел.

Большими деньгами он также не интересовался, памятуя слова отца, повторявшего за своей матерью: «Длинный рубль – карман сжигает!» Так и жил Петр, скромно довольствуясь необходимым, свято чтя еще одну заповедь своей ушедшей родственницы: излишество – это зло, ниспосланное людям самим сатаной, а любое зло наказуемо Богом.

Зато его сосед Фома жил, что называется, на полную катушку: друзья, рыбалка, посиделки в общественной бане, часто, как водится, с обильным воздаянием Бахусу. Супруга Фомы старалась на эти потехи мужа особого внимания не обращать, не без основания замечая доброхотам, что так живет вся страна.

– На свои гуляет, не на ворованные! – восклицала она гордо, не то оправдываясь за часто выпивающего мужа, не то и в самом деле гордясь тем, что могут себе позволить лишние траты.

Правда, случались в семье Фомы и маленькие трагедии с большим резонансом. В очередной раз уличив супруга в неверности, его жена закатывала грандиозный скандал, да так, что весь двор был в курсе всего происходящего в их семье. В такие дни окна квартиры на втором этаже не закрывались



несколько дней, откуда на улицу сыпался град обидных упреков и не только. Злые соседские языки поговаривали, что супруга Фомы специально не закрывает окно, потому как, в случае чего, можно будет позвать на помощь. Бывало, и звала, и даже участковый несколько раз забегал. Как правило, через недельку бесконечных ссор, драк и битья посуды «всемирный» скандал в семье Фомы заканчивался «мировой». На радостях они с супругой затевали настоящий праздник, приглашая близких соседей и друзей, а также знакомого участкового отметить это событие.

Петр в их квартире никогда не бывал, не приглашали. Да он и не стремился. Очень уж разные были у них стежки-дорожки с соседом. И все же он по-особому относился к Фоме, можно сказать, любил его той любовью, с которой священники относятся к своей пастве. Когда из окон Фомы начинало разноситься окрест пьяное многоголосье застойной песни, что, видимо, должно было возвещать о наступлении полного счастья и гармонии в его семье, Петр становился на колени у своего домашнего иконостаса и, воздавая хвалу Богу, начинал горячо молиться за спасение душ всех выпивающих, ибо они творили это неразумное дело по своему незнанию Божьего слова.

Не раз и не два Петр-праведник, как его окрестили с детства соседи, пытался донести до Фомы евангельское слово, но каждый раз наталкивался на глухой заслон. Однажды, встретив его у пивного ларька, он снова принялся порицать его за проступки.

– Страшным грехам потворствуешь, Фома! – молвил Петр. – Господу нашему противным. Он ведь накажет, ой как накажет! Попомни мои слова. Вертайся домой и думай о спасении души! Каждый вздох свой думай о Нем, об Отце нашем небесном. Как земля в состоянии смуть с себя любую грязь, так и человек должен избавляться от своей скверны. Думай, Фома, о спасении души!



Потупив глаза долу, мужчина, казалось, собрался выслушать праведного соседа, но, оглянувшись на своих ерничающих дружков, вдруг схватил его за грудки и припер к стене.

– Слышь, святоша, ну че ты лезешь в мою душу? – Сверкнув волчьим взглядом, Фома дыхнул на него перегаром. – До печенки достал своими проповедями! – Отшвырнув физически слабого соседа в сторону, он тут же пожалел об этом и, незлобно хлопав его по плечу, процедил: – Иди отсюда, Петюня, Христа ради, подобра-поздорову! Пугаешь ты меня своими сектантскими проповедями. Я ведь тоже могу уму-разуму научить кого хочешь! Вот скажи: делать тебе нечего? Женился бы лучше да детей растил, а то так и помрешь бобылем, и на могилку некому будет приходить.

– А мы его за казенные деньги сами в деревянный бушлат оденем да и закопаем! – хихикали его подвыпившие дружки. – Ага! Будет еще один повод собраться, выпить!

Цыкнув на них, Фома отпустил соседа с Богом. Петр не обижался на него. Он знал, что в душе Фома был человеком добрым. Случись что, тот, как правило, одним из первых приходил соседям на помощь. Что же касалось своей личной жизни, то Петр этот вопрос для себя уже давно решил: он всецело посвятит ее вере. «В этом мире все грешно, – уверял он себя. – И каждому воздастся по его заслугам. Проживу, сколько отпущено, в праведности да буду потом вечно с моим Господом».

Многие люди панически боятся смерти и последующего божьего наказания за свои мнимые или реальные грехи. Проживая год за годом в страхе, они так и не успевают узнать, что такое жизнь, не испытывают ее очарование.

Так и продолжали жить в одном дворе праведник Петр да грешник Фома. Каждый раз, услышав мощный голос своего пьяного соседа, распевавшего любимую песню про долю каторжанина, Петр



привычно осенял себя крестным знаменем и приступал к молитве во спасение душ всех заблудших. Божий человек верил, что его молитвы имеют особую силу, иначе как объяснить тот факт, что несколько раз, встретившись во дворе, сосед высказывался как на духу, что сожалеет о своей греховности и вот-вот де изменится?

– Молись за меня, Петюня, молись! – горячо говорил Фома, обдавая вчерашним перегаром. – Ты у нас один такой святой человек. Должен же кто-то нас отмаливать! Хоть и страшно перед Богом после твоих проповедей, да слабости наши человеческие не пересилить, так-то вот. Как говорится, Петюня: хотелось бы в рай, да грехи не пускают! В тяжелое время живем – время стресса и страстей. Не запьешь их водярой – помереть можно.

– Зачем же пить? – мягко, с обезоруживающей улыбкой возмутился Петр. – Прииди к истинной вере через Библию! Прииди к Богу через покаяние! Хочешь, я к тебе сам домой приду, да вместе и почитаем Послание Отца нашего чадам своим? – предлагал Петр соседу. – А нет – ты ко мне заходи. Вдвоем-то сподручнее будет изучать Книгу книг. Там ведь, Фомушка, от всякого стресса лекарство имеется.

– Мне до Библии еще расти и расти, – отшучивался Фома. – Очень уж она толстая да сложная для моего разума. Ты лучше сам молись, Петюня, за нас, грешных!

И Петр молился. Впрочем, это было единственное, что он любил и умел делать от души: молиться за людей.

Долго ли, коротко, а прожили они рядом сорок годков, когда случилось в их краях землетрясение. Увидев, как закачался под ногами пол да с потолка стала отваливаться штукатурка, схватил Петр со стола Библию, сорвал со стены иконы – все, чем дорожил больше всего на свете, – и выскочил во двор, где народ в панике разбежался кто куда. Отскочив на



безопасное место от разваливающегося на его глазах дома, Петр упал на колени и, продолжая прижимать к груди Библию, принялся неистово молиться.

– Отче наш, суший на небеси, спаси мя, раба твоего... – Обрушиваясь, стены домов погребали под собою людей, взметнув в воздух столбы густой пыли. Еще усерднее стал молиться Петр: – Прости нас, Отец небесный, ибо накликали беду за грехи свои... Спаси мя... Гнев свой праведный отведи от агнцев своих... Спаси мя...

Людские стоны и крики пробирали его до костей. В отчаянии он, словно пытаясь спастись от их душераздирающих стенаний, прикрыл голову иконой. Кричали дети, потерявшие родителей; старуха из соседнего подъезда, прижатая чьим-то старым шифоньером, просила найти ее внучку. Землетрясение прекратилось так же внезапно, как и началось. Прошло не более нескольких минут после первых толчков, но людям они показались вечностью. Кто-то из мужчин истошно крикнул, чтобы все отбежали от зданий на пустырь. Петр открыл глаза – это был Фома.

Свалившись от толчков с кровати, на которой спал после вчерашнего крепкого кутежа, Фома не сразу сообразил, что происходит, а когда понял – успел вытолкнуть своих родных в зияющий в стене провал и как был в трусах, так и выпрыгнул на улицу вслед за ними. Его глаза слезились от бетонной пыли, а горло изрыгало такие проклятия, услышав которые, родители обычно закрывают детям уши. Но сейчас никому не было дела до этого; каждый как мог спасал свою жизнь. Растерянно озираясь по сторонам, Фома не сразу пришел в себя. Сообразив, что за первым толчком, возможно, последует второй, более сильный, он призвал уцелевших мужчин действовать. Все ринулись к завалам, откуда продолжали доноситься плач и просьбы о помощи. Заметив на дорожке Петра, Фома встряхнул его за плечи:



– Потом, твою за ногу, потом будешь молиться! Иди, спасай людей! – прокричал он ему в ухо и, отшвырнув в сторону, чтобы не мешал, бросился к старухе.

Прежде чем земля снова закачалась под его ногами, мужчина успел оттащить в сторону соседку и маленького мальчика, чудом избежавшего ранений. Затем к ногам старушки упала ее маленькая собачонка – единственная оставшаяся на этом свете отрада одинокой женщины. В следующее мгновение стена их «хрущевки» резко повалилась прямо на него. Все произошло неожиданно, прямо на глазах оторопевшего Петра, чьи губы, искривленные испугом, продолжали шептать молитвы. Несколько человек бросились к Фоме. Подбежал наконец и Петр.

– А, апостол! – донеслось до него из окровавленных губ израненного соседа. – Так-то вот, Петюня... Не уберегся...

– Господи! – упал перед ним на колени Петр. – Ну почему – апостол? – От растерянности он не знал, что говорить.

– Кликуху мы тебе такую дали еще в детстве, промеж нас, пацанов. – Из груди Фомы вырвался стон. – Неужто не знал?

– Нет, не слышал, Фомушка, не слышал. Мы же с тобой и не общались в детстве совсем, помнишь?

Склонившись над умирающим соседом, Петр не сдерживал рыданий, до того ему было жалко последнего.

– Эт потому, что слишком уж ты праведный был, Петюня, прям как бельмо на глазу. Чисто как совесть ходячая! А я вот свои грехи так и не успел замолить. Ты отмоли... – выдохнул он прежде, чем чувства покинули его.

Безудержные слезы застилали глаза сердобольного Петра. «Прости нас, Господь! Прости мя, грешного», – не останавливаясь, шептали его губы. Дальнейшее он видел словно сквозь пелену: как



подъезжали кареты скорой помощи и, погрузив раненых, уносились прочь под страшный вой сирены; как выжившие помогали раненым. Чуть придя в себя от пережитого потрясения, Петр наконец намерился и сам принять участие в оказании помощи пострадавшим, да только, видать, крепко связала их с Фомой судьба.

Чтобы освободить руки, Петр стал подыскивать чистое место, куда можно было положить иконы и Библию. Негоже было святыням лежать в пыли. Так он и оказался у соседнего полуразрушенного дома. Занятый своими мыслями, Петр не заметил, как смерть нависла над ним в виде стены. Последнее, что он увидел, – тень, резко навалившуюся на него.

Петр еще был в сознании, когда его доставили в больницу, до отказа заполненную пострадавшими. Случайно, или так было задумано Провидением, но их с Фомой койки оказались рядом. Ужас обуял его, когда он увидел соседа, из тела которого во все стороны торчали какие-то трубки. Фома был в коме. Сознание самого Петра едва цеплялось за звуки. Закрыв глаза, он слышал глухие, словно из преисподней, голоса медиков, суетившихся вокруг него. Превозмогая страшную боль в израненном теле, Петр собрал остаток сил и взмолился про себя: «Прости, Отче, мя за грехи мои...»

– И этот не жилец! – с ужасом услышал он над собой слова врача, производившего беглый осмотр, прежде чем через мгновение его душа покинула тело. Всю жизнь в страхе ожидаемая им встреча с Господом наконец приближалась.

Взлетев под своды этого ненавистного людьми помещения, душа Петра столкнулась с другими. Одно за другим незримые облачка покидали этот больничный загон. Он с удивлением смотрел сверху на свое уже бывшее тело, от которого еще не успели отойти медики, и чувствовал... необыкновенную легкость. Земная маета закончилась, и ничто его здесь больше не держало и не интересо-



вало. Ему захотелось вслед за другими облачками просочиться сквозь стены и исчезнуть в небе, в космосе, улететь туда, где его непременно ждут.

– И ты здесь? – вдруг услышал он знакомый голос. – Значит, тоже не выжил!

Обернувшись, Петр увидел своего соседа. Бестелесный Фома улыбался ему.

– Видишь, Богу все едино, что грешник ты, что праведник. Всех одинаково ухайдакал своим гневом. Ух ты, сколько нас! – воскликнул сосед не то с удивлением, не то с восторгом. – Айда догонять остальных! – бросил Фома напоследок, и его душа исчезла сквозь ставшие дымчатыми стены больницы.

Его слова испугали Петра. «Неужели Господу действительно все едино, кого прибрать к себе? – с ужасом подумал он. – Тогда к чему была вся моя жизнь?» Он силится вспомнить слова молитвы, но скорость, с которой его душа мчалась навстречу пугающему неизвестному, казалось, выдула все из него.

Долго ли, коротко летели они над пугающей бездной в сплошной темноте – то ни одной из человеческих душ неведомо, да только появился внезапно Свет, и сразу услышали они Слово, вернее, целый диалог. Два старца, облаченные в длинные легкие наряды песочного цвета, неожиданно предстали перед ними. Словно не замечая новопредставившихся, они, казалось, о чем-то спорили.

– ...Из песка и глины все живое появилось, в песок и превратится, – донесся до Петра голос одного из старцев.

– Опять ты за свое? – возмущался другой, почесывая затылок. На вид он был немногим моложе. – Из духа Божьего соткана жизнь человеческая, говоря тебе, духом и останется.

– Из песка вечности тела бранные, – упрямылся первый, сидя с поджатыми ногами прямо на песке. Из его собранной в кулак руки тонкой струйкой сыпался песок. – Стало быть, ни греха за людьми числиться не



может, ни праведности, ибо песок не может быть ни грешен, ни праведен. Песок – он и есть песок.

– А как же душа? Она не из песка! И грех, и праведность осуществляются одним и тем же способом – человеческими помыслами и делами. Они и питают душу, и в этом есть истина!

– В истине каждый находит то, что сам в нее вкладывает. Что важное в кувшине?

– Его содержимое! – победно сообщил второй.

Продолжая невозмутимо сидеть, первый старец слегка ухмыльнулся, уставившись вдаль.

– А что важнее в голове человека?

– Его мысли! – не раздумывая, ответил его собеседник.

– Глупец! – засмеялся старший, взглянув исподлобья. – Глупец! Мысли человека никому не известны. Даже Господь не всегда читает их, особенно если они глупые. Слово – вот что важно в нем! Ибо за словом обычно следует дело, а за мыслями чаще пустота. Глупец! – снова повторил старик. – Вот почему ты всегда будешь второй, а я – первый!

– А, что с тобой говорить! – досадливо махнул рукой младший. – Считай, две тысячи лет тебя знаю, но ты как был упрямым, так и остался. – Повернувшись наконец к сбившимся в кучку бестелесным существам, он внимательно оглядел их и, привычно почесав затылок, бросил: – Вот сейчас и спросим новеньких. Сами-то как думаете? – обратился он к ним. – Есть за вами грех какой или безгрешны все?

Взглянул Петр на своих спутников горемычных и неожиданно обнаружил, что может увидеть всю их прошлую жизнь. И возликовала его душа, засияла необычно. «Да среди них только я и есть праведник! – воскликнул он про себя. – Стало быть, лишь я и достоин сада Эдемского за все, что претерпел на земле, да за все мои молитвы. Хвала Отцу небесному за путь праведный, какой указал мне через бабушку мою родную еще в детстве. Истинно говорю: лишь я и достоин коснуться руки моего Отца».



Лукавым взглядом смотрели на Петра все это время оба старца, словно читали его мысли. Обменявшись между собой легкой насмешкой, они вопрошали к нему:

– Скажи нам, брат во Христовой вере, с чем и зачем ты жил на земле?

И выступил вперед наш Петр-праведник, и отвечал как есть, по совести:

– Прожил я с великой Верой в Отца нашего и, как учил Иисус, жил в праведности, отказывая себе в сытости и комфорте, в излишествах. Все годы провел в молитве о будущей вечной жизни в райском саду, где наконец смогу узреть Господа моего.

Снова переглянулись старцы. По тяжелому взгляду младшего Петру показалось, что его такой ответ не впечатлил.

– Что двигало тобой? – спросил тот, нахмутив лоб.

– Страстное желание быть сопричастным ко всему, к чему прикоснулся своим духом и перстом Отец наш небесный. Жил, ни разу не нарушив заповедей Христовых, во всем себе отказывая, – снова подчеркнул он. – Всю жизнь усердно молился, отмаливая свои грехи, равно как и грехи других людей.

Сказав это, Петр отступил на шаг назад и, покорно склонив голову, стал ожидать. Промолчали святые старцы. Недобрым знаком показалось это Фома. «Если ответ праведника Петра им пришелся не по душе, что же я могу рассказать о своей жизни?» – подумал он. Теперь каждый, кто находился в этот момент рядом с ним, по очереди поведал апостолам (а это были не кто иные, как святые апостолы Петр и Павел, на вере коих в воскресение Христа и стоит христианство) о делах его земных. Последним выступил Фома. Где-то глубоко в фибрах своей души он надеялся, что, как и перед земными судьями, его чистосердечное признание, как говорится, смягчит наказание и все такое, поэтому ничего не стал утаивать из своей земной жизни.



– Да, много чем ты нас потряс! – усмехнулся стоявший перед ним младший из старцев. Оглянувшись на сидевшего товарища, он кивнул головой в сторону Фомы: – Ну, скажешь, и за этим малым нет грехов?

– Грех есть понятие абстрактное ничуть не меньше, чем праведность. Только Господь решает, кто предстанет перед ним. Только Он знает, в чем истинный смысл человеческой жизни. Да ты и сам все знаешь, брат мой. Лучше распиши этим олухам картинку их дальнейшего бытия.

– Истинно говоришь, брат! – согласился с ним второй. – Всякий раз, когда появляются новые души, мы начинаем с тобой один и тот же разговор и каждый раз убеждаемся, как все напутано на земле. – Повернувшись к душе Фомы, старец приздумался: – Господом Богом нам дано право решать вашу дальнейшую судьбу. Ты последний отвечал, с тебя и начнем. – Он впился глазами в Фому, отчего душевная оболочка последнего заохолодела. – Прожил ты жизнь человека обыкновенного, а значит, не безгрешного, но грехи твои прощаются тебе, ибо не чинил ты людям худа и оставил после себя продолжателей рода человеческого, и у них будет возможность на твоём примере избежать своих, ещё не случившихся, грехов. Иди, брат мой, в сад Божественных Откровений и смой в реке Очищения пыль земных деяний. Когда же очистишься, иди к древу Познания Мудрости и вкуси плодов его, а затем по дорогам Страданий и Сострадания вернись к семье, ибо не все дела земные ты ещё закончил. У тебя будет время самому исправить свои ошибки, – сказав это, старец повернулся к следующей душе, а неосязаемая оболочка Фомы вмиг растаяла.

И каждой душе, какой бы она ни была мелкой или величественной, была определена оценка по ее деяниям. Тот же, кто намеренно избежал в своих речах откровений о себе, смог воочию увидеть свои грехи собственным внутренним взором. И многим,



но не каждому стало совестливо. Когда же все, с кем явился Петр, покинули их, уносясь в неизвестные ему миры, остался он один на один со старцами. И опять страх обуял его, стоило только поймать на себе суровый взгляд старшего. Для смелости Петр попытался было прочесть хоть одну из молитв, но ничего не осталось в нем из прошлого.

Получив молчаливое согласие своего старшего товарища, все так же продолжавшего сидеть, второй апостол повел Петра за собой. Очень скоро они оказались в великолепном саду, где взору праведника предстали невиданной красоты растения, на ветвях которых тысячи чудесных птиц пели свои песни друг другу и Создателю всего этого великолепия. Созерцая фантастические цветы, Петр буквально окунулся в их аромат. Чуть поодаль, там, где подлесок переходил в великолепный сказочный лес, словно собранные со всех уголков земли гуляли животные, большинство из которых он никогда прежде не видел. Однако они не трогали его. Но вот стали попадаться и люди, лица которых были отмечены печатью необыкновенного умиротворения и счастья. Завидев старца, сопровождавшего Петра, они одаривали его улыбками, с любопытством разглядывая его спутника. Долго бродили они по чудесному саду. Сначала Петр с нескрываемым любопытством рассматривал все, что попадалось им на пути. Несколько отстав от него, святой старец внимательно наблюдал за его реакцией. Но постепенно, с каждым новым поворотом дорожки, по которой они шли, словно парили по воздуху, лицо Петра становилось все более скучным. Завидев на большой лужайке стайку детишек, весело и громко игравших в мяч, он рефлекторно отодвинулся.

– Шумно? – участливо спросил апостол.

– Да, непривычно, – смутился Петр. – Очень громко!

– Жизнь не может не создавать шум, ибо она есть движение.



Совсем неожиданно за очередным изгибом холма Петру открылась живописная деревенская улочка, по сторонам которой уютно расположились дома ремесленников. До их слуха стали доноситься звуки топора и вторящие им удары кузнечного молота. Работа мастеровых заглушалась красивой мелодией свирели, на смену которой пришла флейта, и вот уже целый оркестр невидимых музыкантов заполнил всю округу чудесной музыкой. На мгновение Петру показалось, что нечто подобное он уже когда-то видел или мог видеть. Быть может, в далеком детстве, когда еще не родилась его сестра и не переехала к ним жить бабушка?

И все же что-то подсказывало, что обстановка, в которой они сейчас находились, притворна. Страх вернулся к Петру, а вместе с ним и странное чувство величайшей жалости к себе. Он повернул назад.

– Ну что, наш праведный брат проникся непрожитой жизнью? – бросив взгляд на отстоявшего чуть в стороне Петра, спросил старший апостол своего товарища, когда тот поравнялся с ним.

– Скорее, жалостью к себе. Тот, кто не ценил жизнь на земле, не сможет оценить ее нигде, – покачал он головой.

– Он жил по догмам, воспетым другими людьми, которые для него являлись авторитетами. Но догма – это часто дубинка, которая может больно ударить по тебе. Очевидно, обыденная жизнь вызвала в нем скуку, ведь фанатичная вера отвлекала его от нее. – Старец глубоко вздохнул. – Выходит, наш друг так ничего и не понял! Сейчас объясним.

Подозвав Петра, старший из апостолов спросил:

– Все ли ты успел осмотреть, брат мой? Остался ли доволен?

– Отчасти, – ответил Петр, явно не выказывая особой радости от увиденного. – Признаться, примерно таким я и представлял себе рай.

– Неудивительно, ведь ты увидел то, что много лет рисовало в твоём сознании твое же вооб-



ражение. Правда, в этих фантазиях не было места счастливым детям и их родителям. В них не было мастеровых людей, чья жизнь являет собой пример душевного успокоения, и стоило нам показать все это, как ты загрустил. Ты жил одной лишь Библией, но, друг мой, жизнь не познается только лишь из книг, пусть даже такой, как эта, Величайшая из всех. Каждый должен прожить ее самолично. Мудрейшие из книг лишь позволяют корректировать ее. Твой сосед Фома умер за то, ради чего стоило жить. Ты же ничего из этого не познал. – Он участливо посмотрел на него. – Но тебя ведь что-то смутило во время прогулки?

– Смутило, – не стал отнекиваться новопреставленный. – Повстречав здесь многих людей, я не увидел, чтобы кто-то из них... молился, как не видел и храмов. Видимо, здесь это не...

– Если бы только в молитве была истинная сила, – перебил его апостол. – Создатель принес на землю Веру, а молитвы придумали люди. Ты много лет подменял понятия веры в Бога и уверенности в своей вере.

– Разве это не одно и то же? – удивился Петр.

– Господь существует помимо того, верит человек в него или нет. Бог един, но люди веруют в него по-разному и молятся по-разному. Оттого и нет на земле единения между ними. Иной неверующий своей жизнью больше заслуживает милости божьей, чем многие, кто посвятил себя так называемому служению церкви.

– Разве церковь не есть мост между Богом и людьми? – спросил Петр. В нем снова прочно засел страх. – И разве храм Божий не есть якорь, к которому надо приковать себя, чтобы не унесло течением безверия?

– Лишь заповеди Господа нашего есть якорь, а служение Ему через них и есть мост. Его сын, Иисус Христос, прожил на земле совсем мало лет. Одни проживают дольше, другие – короче, и это по-



нятно, но по сравнению с чем? С чем меряют свою жизнь люди? – произнеся эти слова, старик сурово посмотрел на Петра. – Думаешь, готов предстать пред Ним?

– всю свою жизнь я посвятил Ему, – произнес Петр. – Отказывал себе во всем. Мне ничего не нужно было для себя, разве что кров над головой и немного еды, – повторил он слова, сказанные ранее. – Моя жизнь была служением только Богу. – снова заметив скепсис в глазах обоих старцев, Петр испугался, что его примут за лжеца. – Я даже в монастырь хотел уйти...

– Зачем? – внезапно перебил его второй старец, который явно не отличался сдержанностью. – Думаешь, в монастырях одни истинные праведники находятся? Знал бы ты, сколько людишек вроде тебя укрываются там от обычных человеческих, если хочешь, мужских, отцовских обязанностей.

Петр не понимал их. Там, на земле, он был уверен, что своей праведностью непременно заслужит вечную жизнь, где будут благодать и божественная любовь.

– Как думаешь, – продолжал сердито тем временем старец, – что проще: скрыться за стенами монастыря и жить по давно заведенным кем-то традициям, время от времени уединяясь с молитвой, или взять на себя определенные обязательства, создать семью, родить детей и до гробовой доски быть нужным людям, пусть даже только своим родным?

– Я полагал, что служение Богу важнее всех земных дел! Все же остальное – суета. – Петр совсем растерялся. – И потом, ежедневными молитвами я отмаливал не только свои грехи, но и чужие!

– Свои грехи? Какие? Ты жил так, что боялся шагу неверного сделать, откуда тебе знать, что такое грех? Но между тем ты не менее грешен, чем любой другой. Нам ведомо, что кроме духовной пищи ничем другим ты не поддержал дух и плоть отца своего и мать, когда они в нужде тяжелой да в



хвори доживали свои последние дни на земле. Видели, в каком усердии ты возносил каждый вечер молитву Отцу небесному, но безрадостно нам было от того, что не испытал ты чувств отцовских, не родив дитя, чело которого мог целовать перед сном, и не оставил после себя корня на земле, и не испытал гордость мужскую за жену свою, ибо не имел такую, и не оставишь о себе память на земле, потому как ничего путного не сделал...

– Отмаливать чужие грехи? Эка хватанул! Да кто ты такой? – засмеялся старший из апостолов. – Только Господу нашему дано отпускать грехи людям.

– Но ведь грехи отпускают и священнослужители? – продолжал удивляться их речам Петр. – Им дано такое право самим Господом!

– Какая чушь! – запыхтел от негодования второй. – Эти представители иерархического института церкви самолично возложили на себя такое право, думая, что собой подменили Господа? Жалкая твоя душонка, – продолжал он, впрочем, как показалось Петру, более миролюбиво. – Ты думаешь, что за стенами храмов и монастырей, за молитвами возможно спрятать свое человеческое тщедушие?

– Меня с детства уверяли, что выше веры в Господа быть ничего не может! – продолжал настойчиво Петр. Ему вдруг подумалось, что старцы специально провоцируют его на богопротивные разговоры. Он решил проявить стойкость. – Веруйте, и тогда воздастся вам! Разве не так сказано в Библии?

– Пустая вера без жертвенности никому не нужна, жалкая твоя душа! – напирал на него младший из апостолов. – Выскочив из разрушенного дома, ты сберег Библию и иконы – всего лишь книгу и доски, а мог спасти младенца. Жизнь любого человека, пусть он трижды грешник, стоит дороже всех икон, ибо она неповторима и... Богом дана. Что иконы! Их еще напишут, книги издадут, а смерть даже



одного человека прерывает цепь всех будущих поколений. Разве известно тебе, сколько богоугодных потомков мог родить тот, кого ты сегодня не спас? – Святой апостол с некоторым сожалением смотрел на вконец потерявшегося Петра. – В самом начале я спросил: что двигало тобой на земле? Ты ответил: страстное желание быть сопричастным ко всему, к чему прикоснулся своим духом и десницей Отец наш. Но все, что тебе здесь показали, не вызвало у тебя никаких эмоций, а ведь ничего из того, чего нельзя было увидеть на земле, здесь не было! Твои слова – обман! Фанатичная вера, основанная на страхе перед господним наказанием, обрекла тебя на добровольное затворничество, из чего следует, что к настоящей жизни ты сопричастен не был. Сто раз праведен тот, кто, столкнувшись с грехом, уходит от него. Однако тот, кто не избежал грехопадения, но нашел в себе силы исправить сей дьявольский умысел, тысячу раз заслуживает прощения, а значит, праведен. В жизни не без изъяна, в жизни всякое есть. Кто не делает ошибок, тот не знает цену исправленному. – Излив свой праведный гнев, старец отошел к своему собрату. – Засим заявляем, – грозно сверкнув очами, сказал он, – что даем возможность исправить свою ошибку и... отправляем тебя назад.

Речь старца, местами сложная для понимания, вконец испугала Петра.

– Как же я вернусь назад, когда уже умер? – Он попытался вызвать жалость к себе. – Я видел свое тело; оно искалечено! И как я исправлю свои ошибки, ежели не знаю, в чем мой главный грех?

Увиденное здесь благолепие, к которому он поначалу никак не проникся, не обнаружив золотых храмов и самого Отца небесного в сопровождении ангелов, сейчас влекло его душу, очерстевшую без нежности и человеческого тепла. И если вина его в том, что на земле, добровольно или по принуждению его родственников, он вел затворническую



жизнь, то разве не заслуживает сейчас другой судьбы его ссохшаяся душа?

– Ты веровал, потому что страшно было не верить, – изрек старший из апостолов, прекрасно понимая, что творилось в его душе. – Не жил обычной жизнью опять же из страха навлечь гнев Божий за свои земные страсти. Разве не за них погиб на кресте Христос? Что главное в человеческом теле? – спросил он.

– Душа! – воскликнул, чуть не закричав, Петр. Уж это он точно знал.

– Верно, душа. Тело лишь храм для нее. Но что такое душа без опыта? Вот поэтому и дана человеку жизнь, чтобы обогатить душу. Не трусливое служение, но опыт нашей жизни интересен Господу. Истинное следование Его наказам: жить, любить, созидать...

Понимая окончательно, что его возвращают в прежнее состояние, и всей душой сопротивляясь этому, Петр, потеряв страх, попытался вступить в спор, но все его мысли, очевидно, были ведомы старцам.

– Да ты никак решил в торговцы записаться? – снова возмутился второй апостол, едва Петр открыл рот. – И товар твой называется – сострадание к себе любимому?

Развернув Петра, старец в сердцах пнул его ногой чуть ниже спины и... вытолкал обратно на землю...

– Этот все еще сопротивляется! – услышал Петр далекую речь. Приоткрыв глаза, он увидел группу медиков, суевившихся у койки Фомы. – Задышал! – радостно воскликнула медсестра.

– Готовьте дефибриллятор для второго, – приказал врач, поворачиваясь к Петру, но, увидев его широко распахнутые глаза, замер в удивлении. – Воистину дела твои непредсказуемы, Господи! – вымолвил он, вытирая вспотевший лоб. – Сегодня



определенно день чудес. Видать, любит их Бог! – крикнул он, убегая к другим пострадавшим, на ходу давая дальнейшие указания своим помощникам.

– Наверное, у этих бедолаг здесь еще остались нерешенные дела, вот Боженька их и оставил, – заключила пожилая санитарка, смывая с пола запекшую кровь. – Значится, рано им еще туда! – Увидев, как из закрытых глаз Петра выкатилась одинокая слезинка, женщина покачала головой: – Этот, горе-мычный, аж расплакался. Кто знает, может, повидал чего там, на том свете? Надо бы расспросить, когда оклемается...

Тяжелая ветка яблони, росшей у самой стены их старенькой больнички, гулко ударилась о стекло. Ворвавшийся с грохотом открывающейся створки ветер скользнул по лицу Петра, обдав прохладой. Открыв глаза, он долго смотрел в потолок, не понимая, где находится.

– Проснулся, сосед? – спросил его знакомый до боли голос. – Ну ты и горазд спать!

Повернувшись на голос, он увидел Фому.

– Ты жив? – обрадовался Петр. – А я тебя видел...

Петр хотел рассказать, где встречались их души, но вовремя спохватился.

– Жив-жив! Что нам, рабочему классу, сделается? – улыбался во всю ширь своего оцарапанного лица его неунывающий сосед. – Тут по больничке про нас с тобой легенды ходят. Говорят, дескать, мы с тобой с того света возвратились. Оба, значит, в «клинике» побывали. Бабка одна, санитарка, заходила, спрашивала меня, видел ли я Бога.

– И что ты ответил, видел? – насторожился Петр.

– Не-а, ничего не видел. Помню, как потянулся за дитем под завалами, а что было потом – хоть убей, не помню.

– Хватит, уже разок был убит! – засмеялись в дальнем углу. – Теперь поживи маленько, а то скучно будет без тебя, болтуна, если снова ласты склеишь.



– Эх, узнать бы, успел вытащить мальчика или нет?

– Спас, – промолвил Петр. – Я сам видел.

– Ишь ты! – ухмыльнулся Фома. – Значит, быть теперь мне ему крестным, если не крещен еще. – Фома произнес это с такой гордостью, что Петр порадовался за него. – Во, уже один повод есть, это самое, отметить возвращение! – пошутил сосед. – Ну, может, ты кого видел... там... в преисподней? – спросил он с неизменной ухмылкой на лице. – Какой день уже кричишь: «Не хочу! Не хочу назад!» Мы тут так и не поняли, куда назад: чи туда, чи сюда. Ну, видал чего?

Петр молчал. Он и сам не знал, что ответить. Видал ли он вообще что-либо или это был всего лишь коматозный сон? Фома утверждает, что они оба были в клинической смерти.

– Ты это, сосед, не серчай на меня за тот пинок, которым я тебя взгрел там, у дома, – перестав улыбаться, сказал Фома. – Сам понимаешь, это самое, в аффекте был. Не знаю, что нашло на меня! Гляжу, рушится все, людей надо спасать, а ты вцепился в свою книгу и не шевельнешься. Ну я и поддал тебе, это самое, под зад. Так ты уж не серчай, ладно?

– Ну и правильно сделал, что поддал, – заверил его Петр и... впервые от души рассмеялся.

– Что за книгу такую ценную держал? – спросил Фома, когда товарищи по несчастью вволю посмеялись, радостные от того, что остались живы и даже не сильно покалечились. – Небось, Библия?

– Библия и была!

– Вон оно что! – Фома снова стал серьезен. – Кто знает, может, она да твои молитвы и спасли нас от верной смерти! – Он прилег на свою кровать. – М-да! Видишь, как бывает: живешь и не знаешь, покуда не трахнет по голове, что жизни нашей цена – копейка.

– Нет ничего важнее человеческой жизни! – заметил ему Петр, вспомнив слова привидевшегося апостола.



– Это так, сынки, это так! – сказала входившая в этот момент в их палату старая санитарочка. В руках женщина держала яблоки. – Нате вам, ребятки, поешьте! Яблочки-то райские! Думаю, у самого Бога такие только и есть. Он там, на небе, ими своих возлюбленных апостолов потчует, а я туточки вас...

К моменту выздоровления городские власти выделили им взамен разрушенной «хрущевки» новые квартиры, и стали Петр и Фома снова жить по-соседски. Только с этого момента жизнь каждого из них изменилась коренным образом. Нет, конечно, Фома не перестал выпивать, но теперь он это делал исключительно по праздникам и не злоупотреблял. Не реже раза в месяц они с супругой посещали церковь. Всем своим знакомым Фома говорил, что на это его подвигло их совместное с Петром изучение Библии. Вера человека похожа на залежи торфа. Чем глубже лежит слой, тем меньше шансов ему воспламениться. Открытому же слою достаточно и маленькой искры, чтобы загореться. Так случилось и с Фомой, который в глубине души всегда хранил веру в Бога. Петр лишь поднял ее на поверхность. Он вообще стал частенько бывать в их доме, где однажды и познакомился с молодой вдовой, чей муж погиб во время того землетрясения. Женщина осталась одна с ребенком на руках. Она ему очень приглянулась, и вскорости квартира Петра наполнилась новыми голосами, а чуть погодя у них и совместный ребенок родился, а затем и второй. Петр души не чаял в детях, как и в своей жене. Глядя на своего мужа, его счастливая супруга также благодарила Бога, что не оставил одну.

И воцарилась в их новом доме тишь да благодать. Только злые языки поговаривали, что видели, дескать, в общественной бане, куда Фома приучил ходить Петра, у последнего некий странный след на ягодице. След не след, а вроде пятно на коже, очень похожее на отпечаток сандалии. Петр отшучивался, говорил, что это печать апостола. При этом он всегда как-то загадочно улыбался.



Знавал я Фому с Петром и раньше, встречаю иногда и теперь. Тот роковой день разительно изменил их обоих. Недавно Петр раскрылся мне, что не боится ни жизни, ни смерти, потому как знает наверняка, что Бог существует и у него есть его верные помощники.

Соседи

Зычный голос Митрофана Сергеева, жившего наискосок через дорогу, Олег услышал еще издали. Не стесняясь в выражениях, сосед во всех известных ему красочных выражениях поносил свою судьбу, находя ее несправедливой. Осторожно приоткрыв глухую металлическую калитку, Олег увидел хозяина. Широко расставив ноги, словно моряк во время качки, Сергеев стоял в глубине двора у сколоченного из грубых досок столика и огромным тесаком самозабвенно крошил капусту, да так, что ошметки от нее разлетались во все стороны. Обозначив свое присутствие громким приветствием, Олег остался стоять у калитки: Митрофан не жаловал непрошенных гостей.

За крестьянскую степенность и крепкую хозяйскую жилку многие в их селе величали Сергеева уважительно Степанычем. Завидев соседа, к которому не испытывал особой симпатии, Степаныч демонстративно скривил лицо, выказывая явное недовольство тем, что его собирались отвлечь от такого крайне важного дела, каким он был занят. Некоторое время Олег еще оставался на месте, дожидаясь дозволения пройти во двор. Разобравшись с очередным вилок капусты, Степаныч наконец отложил тесак и громко крикнул в сторону дома:

– Нюрка, ити твою... Иша давай!

Расценив это как приглашение, Олег осторожно ступил на собственность соседа, впрочем, совсем недалеко отойдя от калитки...



В их село Сергеевы переселились откуда-то издалека лет пять назад. Первое, чем удивил всех новый сосед – отгородился от мира высоким глухим забором, чтобы никто не мог подсмотреть, что делается за ним. До Сергеевых таких «пентагонов» в их селе не строил никто.

Супруги оказались крепкими хозяйственниками. Вместе со своим домашним скарбом они перевезли и многочисленную живность, которой за эти годы заметно прибавилось. Кроме скрытности от местных жителей Сергеевы отличались еще одним качеством – своей нелюдимостью. Друзей среди сельчан они не заводили, в гости ни к кому не ходили, равно как и у себя никого не привечали. Очень скоро Степаныч прославился тем, что умел одним ударом своего страшного тесака забыть любую скотину, и всякий, кто собирался резать корову или свинью, нанимал его для такого случая. Еще у него на заднем дворе стоял старый трактор, которым он также подрабатывал на жизнь. В селе такой железный трудяга всякому бывает нужен: огород вспахать, канаву вырыть или, к примеру, дорогу перед домом подправить. Тем, строго говоря, новые соседи и жили, потому как нигде не работали...

Услышав нервный крик супруга, жена Степаныча тут же появилась на крыльце. Несмотря на свою весьма внушительную комплекцию, она легко прыгала по ступенькам вниз.

– Слышь, Стяпаныч, ну чё ты усё утро поднываешь, как фурункул в срамном месте, ей бо? Сам, гля, точна метяор скачешь, не догонишь тя! – выпалила она скороговоркой, опустив перед ним еще два огромных кочана капусты. Коротко размахнувшись, женщина звонко шлепнула своей пухлой рукой мужа чуть ниже спины. – Вот ты у всём така неугомонна задница: шта в работе, шта в нытье!

Задрав подол и без того коротенького халатика, Нюрка, все еще не замечая постороннего человека, принялась неторопливо почесывать бедро, подни-



маясь все выше и выше, то ли действительно борясь с зудом, то ли к чему-то призывая супруга.

– Слышь, чё гря? Прям сил нету за тобой поспывать-та! Можя передохнешь? Вона кака куча кромсы капустной!

Говорила Нюрка со странным акцентом, так что определить, из каких она мест родом, никто не брался.

Не удостоив супругу даже взглядом, Степаныч что-то негромко пробурчал в ответ и снова принялся за капусту. Приподняв подол халата еще выше, отчего показалась часть нижнего белья, Нюрка продолжала выжидательно глядеть на него.

Пользуясь тем, что по-прежнему оставался незамеченным, Олег заворуженно смотрел на загорелые бедра уже не молодой, но еще весьма привлекательной соседки.

– Ну ты чё, всё иша злишься за вчерашнее, чё ли? – Женщина вплотную подступила к мужу. – Иша нервичаешь?

Собрав брови в кучку, Степаныч огрызнулся:

– Ходи в дом, стерва, народ спужаешь!

Сострив на лице гримаску недовольства, Нюрка демонстративно убрала руку от бедра и, надув и без того не в меру пухлые губы, задрала голову, собираясь гордо удалиться. Но тут, наконец, ее взгляд упал на Олега. Громко вскрикнув: «Ой, батюшки!» – женщина стремглав кинулась в сени.

Уже из дома до Олега донеслось:

– Олечка, ты, чё ли? Ой, бо! Страмота-то кака вышла! Ты уж, сосед, звиняй: не заметила тя с ходу! – На секунду высунувшись в окно, она подарила ему премилую улыбку: – Здоровьица!

– И тебе, Анна, желаю пребывать во здравии! – потешно сгибаясь в реверансе, отвечивал Олег – известный в округе балагур и весельчак.

Выплыв через мгновение обратно во двор, Нюрка еще раз извинилась.

– Страмота кака, гля! А я-то тя и вовсе не заприметила...



Развернув для солидности свои худые плечи, Олег картинно приосанился. Ему доставляло удовольствие играть на людях, подражая любимым киноактерам.

– Скажу тебе, Анна, свет батьковна, что никакой такой срамоты я вовсе и не заметил. Можно сказать, наоборот, очень даже понравилось, это самое... э... – На всякий случай он не стал близко подходить к Степанычу, слывшему среди местного населения страшным ревнивцем. – Очень даже понравилось... э... – повторил он, впрочем, не уточняя, что именно ему понравилось. – Одно скажу: мужу твоему с женой свезло, даже крупно.

– Так и я яму какой год о том талдычу, да тока он рази верит! – Играя роль любящей супруги, Нюрка попыталась приобнять мужа за плечи, но тот грубо увернулся. – Я, сосед, кроме своо Стяпаныча вообще никого не завижу, – больше обращая свои слова к мужу, нежели к Олегу, сорокой трещала хозяйка двора, напуская на глаза томность. – Потому как он своей баатырской статью да душевной тонкостью всех мужиков на свете начисто застил.

Олег придал своему лицу выражение крайней степени серьезности.

– Ну, тут как раз соглашусь с тобой, соседушка! Эт твоя к нему редкая женовняя любовь такую штуку вытворяет, будем так говорить. – Олег решил подсластить супругам, имея на то свой тайный умысел. – Степаныч, можно сказать, всем нашим мужикам за пример статья может. А что: работающий, все в дом несет. Опять же не бабник какой! Чтоб за какой юбкой ходил – такого не слышал. Чего же, позволь спросить, и не любить такого? Заслужил! Ежели, к примеру, взять бахчу, то супруг твой, Анна, похож на... – сначала Олег хотел сказать, что своими внушительными размерами Степаныч у него ассоциировался с огромной тыквой, но в последнюю секунду подумав, что сравнение с этой толстокорой ягодой может не понравиться хозяину



двора, поправился, – на спелый арбуз: большой и сладкий. Где же за таким меня заприметить?! Хотя должен сказать, – Олег еще больше подбоchenился, стараясь подражать гусарам из недавно просмотренного фильма, – что есть еще девахи на селе, кто и такой морквой, как я, не брезгают, потому как мужиков на земле осталось совсем немного, да и те, стесняюсь сказать, многие инвалиды на детскую рождаемость.

Степанычу сравнение с арбузом, даже сладким, все равно не понравилось. Только он хотел что-то ответить по этому поводу, как Нюрка, о чем-то вспомнив, громко вскрикнула и вбежала обратно в дом, прикрывая ладошкой здоровенный бланш под глазом.

– Ой, совсем за харчи забыла! – опять донеслось до них из чрева дома. – Щи поставила на плиту вариться...

– А-а! Ничего, ничего, бывает! – чувствуя неловкость за увиденный синяк, Олег немного стушевался. – Я вас, дорогие соседки, недолго побеспокою, – заверил он, намереваясь перейти к вопросу, с которым пришел, но тут его нос учуял запах и вправду готовящегося обеда. Пустой с самого утра желудок немедленно отреагировал голодным спазмом. Олег решил испытать удачу и попроситься на обед. – Худые щи, как говорится, хоть портянки полощи! – пришел он к спасительному шутовству. – Однако ежели с мясом, то теперь никак нельзя: пост нынче намечается. Впрочем, я постов не соблюдаю и могу угоститься. Чай не откажете соседу в трапезе? – продолжал он балагурить. – Ну, а случись, Анна, пирог какой печешь, то могу и гостинцем забрать до дому: разделю его в ночи со святым Николаем-угодником. Опять же тебе от того чистая прибыль выйдет: не надо будет посуду опосля меня мыть. Да и компотом угощать не придется...

Степанычу, не жаловавшему соседа-болтуна, намек на угощение не понравился. Продолжая хму-



риться после сравнения его с арбузом, он многозначительно крикнул, давая понять, что время, отпущенное им для аудиенции, заканчивается.

– Знаю, знаю, Степаныч: непрошенный гость – хуже татарина и сродни полицейскому, – заторопился Олег. – Я на самом деле на минуточку. Ты деда Саньку, соседа свово, не видал? Второй день не могу до него достучаться. Хата заперта. Может, уехал куда или того хуже лежит где хворый да беспомощный?

Оградившись движением руки от слишком близко подступившего соседа, изо рта которого дурно пахло, Степаныч замотал головой:

– Нету его. Уехал. Думаю, теперь не скоро вернётся.

– Эт куда? Ему вроде как и некуда! В город подался, что ль?

– Ага, в далекий, – загадочно ухмыляясь, сказал Степаныч и, хитро подмигнув Олегу, боднул головой в сторону скрывшейся в доме супруги:

– Видал ейные прелести?

– Чё видал? Ногу ейную, чё ли? – прикинулся непонятливым Олег, делая шаг в сторону. – Ничего я не видал! Оно мне надо?

– «Фару», грю, видал? – почти беззвучно засмеялся Степаныч. – Моя работа! Давеча малость ушатал.

– Эт за что ж ты душу христианскую так? – удивился Олег.

Они были почти ровесниками. Ссориться с новым соседом Олегу еще не случалось, но отчего-то он все равно побаивался Степаныча.

О том, что Сергеев время от времени поколачивал свою супругу, было известно многим. Разные кривотолки ходили о Нюрке по селу.

– Она у тя вроде как покладистая! Опять же, по всему видать, любит, это самое... э... любит тя!

– Ага, любит это самое, – хихикнул Степаныч, приняв недосказанность Олега за определенный



намёк. – Спрашиваешь, за что? Да есть за что, тока это дело проживаемое в нашем с ней совместном житействе. Как говорится: прожевал и выплюнул. А было бы за что другое – давно бы закопал! – Хихиканье толстяка перешло в раскатистый смех. – Баб надобно регулярно ушатывать за просто так, для острастки. Бей, говорят, осла, чтобы коняка не сбёгла, – слышал такое?

Разговаривая, Степаныч продолжал быстрыми ударами кромсать несчастный овощ, да так ловко это у него получалось, что Олег невольно засмотрелся. На мгновение представив себя на месте кочана, он вздрогнул.

Наполнив шинкованной капустой две огромные посуды, Сергеев с силой вонзил тесак в стоявший рядом пень и снова громко крикнул:

– Нюринберг, давай, тащи в дом кастрюльки!

«Кастрюльками» служили две старые выварки литров на сорок каждая.

– Мотри, зараза-девка, чёбы на сей раз заквасила правильно, не так, как у прошлом годе! Бухнула, понимаешь, ведерко соли и споганила мне всю закуску, – с обидой в голосе пожаловался он Олегу, добавив: – Я девок так по молодости не портил, как она капусту, зараза!

Он снова расхохотался, вероятно, находя собственную шутку очень смешной.

– Ой, скажешь тож, Стяпаныч! – снова вынырнула Нюрка на свет, снедаемая любопытством, с какой такой целью Олег пришел к ее мужу. – Люди ишо подумают, шта я и вовсе готовить не умею-та.

Теперь она держалась соседа только со здоровой стороны лица, покрыв голову косынкой, туго спеленавшей лоб и разукрашенный синяком глаз.

Признаться, Олегу было все равно, умеет жена Сергеева квасить капусту или нет, но приличия ради разговор нужно было поддержать.

– Ты, Нюр, не бойсь! Я про тя плохого ничего не скажу и даже не подумаю, – сказал он и осторожно,



чтобы не дай бог не заметил Степаныч, подмигнул. – Потому как я еще ни разу не жрамши твоих щей! Так что, какая ты хозяйюшка – знать не имею возможности, но желаю того.

Это уже был откровенный намек, на который ее супруг привычно отреагировал насупленными бровями.

– Дык, ишо никто не жаловался на мою готовку, правда, Стяпаныч? – вопрошала Нюрка, взглянув на сурового супруга. По давно заведенному в семье правилу она почти всегда называла его по отчеству, потому как, по их общему разумению, жили они зажиточно, а в таких семьях хозяина только так и следовало величать. – Правда, у нас и людей-та не бывает. Стяпаныч не любит, када у доме посторонние.

Сказав это, женщина, как показало Олегу, вся скусила, став на копейку несчастнее.

– Эт смотря какие посторонние, – хмыкнул Степаныч. – Ежели такие, как вчера были, дак и понятно...

От этих его слов Нюрка еще больше съежилась, виновато отводя глаза в сторону.

– А чё у вас вчера было? – заинтригованный нехитрой перепалкой четы, спросил Олег по-простецки. – Никак гости запойные заскакивали?

– А ничё и не было! – выстрелила Нюрка, хватаясь за выварку. – Каки-таки гости? Не было никого...

– Что касаемо гостей... – Схватившись за нужное слово, изголодавшись без добротных домашних харчей, Олег, живший бобылем и обычно обходившийся яичницей или отварной картошкой, продолжил развивать свою мысль: – Хороший гость – как господний подарок!

– А чё мне гости? – буркнул Сергеев, давно догадываясь, к чему тот клонит. – Всякий гость завистливостью одурманен. Ежели, к примеру, ты хорошо живешь, так тебе и позавидуют. А коль плохо – радоваться будут. Так лучше совсем без них. Прихлебателей и без того хватает.



Последние слова он произнес громко, явно адресуя жене, чьи родственники частенько наезжали к ним.

– Нет, божьих людей забижать отказом нельзя, – загрустил Олег, чей желудок к этому часу активно взалкал.

– Ты, что ли, божий человек? – ёрничал Сергеев.

Олег сделал вид, что не расслышал.

– Ежели что случись, так люди, особливо соседи, завсегда помочь смогут. К примеру, пожар какой или, не дай бог, наводнение, так я первый и кинусь на подмогу. А как же?! Все мы Христовы дети и друг за дружку стоять должны, как предки наши на Угре стояли. – в этот момент Олег был твердо уверен в том, что при необходимости именно так и поступил бы. Он величественно поднял голову. – Так что забижать соседей – может статья себе в убыток.

Сергеев кисло скривился.

– Наводнение... Ха, напугал пугливых! И где оно, твое наводнение? Река-то во-он в стороне бежит, аж за околицей!

– Все равно забижать людей отказом никак нельзя, – повторил Олег, почти не надеясь на успех.

Нюрке, изголодавшейся по общению с людьми, пусть даже с такими невзрачными, как этот «метр с кепкой», вдруг захотелось, чтобы Олег как можно дольше задержался у них.

– Будет угощеньице, сосед. Отчего же не угостить-та хорошего человека? – Скрытно для Олега она многозначительно подмигнула мужу. – Скоро нам, можа так статья, рабочая сила в надобность станет, так ты уж, Олежка, не откажи.

– Как можно?! – обрадовался последний.

– А за Стяпаныча худо не думай. Он у мя никого не забижает. Рази шта своим иногда достается, – сказала Нюрка, снова скосив здоровый глаз на мужа, но, поймав его тяжелый взгляд, тут же поправила. – Но то исключительно за промашку какую, а так муж у мя добрый! Кто из деревенских, к при-



меру, может и забижает своих жен, а мой не из таковских. Он мя любит! Хотит, чтобы я на городскую схожа была: вся ухожена да пахла духанисто. Чулки там всякие да колготы купляет. А угощеньице будет тебе, сосед, как без него-та...

– Иди уж в дом, духанистая! – недовольно заворчал Сергеев. – По-первой спросить надо, кто кого забижает?

– Ну да, тя забидишь, как же! – вымученно улыбнулась Нюрка. – Вон с какими кулачищами у мамки народился. Сразу видать: любила тя крепко да кормила знатно.

Легко подхватив одну их емкостей с капустой, она медленно двинулась к крыльцу, демонстративно вихля бедрами и продолжая забавно прятать побитую сторону лица.

Едва Нюрка скрылась за дверью, Степаныч снова наклонился к Олегу.

– Спрашиваешь, за что я ее уконтропупил? А за разврат! – без всяких обиняков тут же сказал он. – Ага! Прямо у моем доме устроила, зараза, ты понял? История така вышла, скажем, нехорошая...

Олег не хотел никаких историй, но, надеясь, что Нюрка не обманет и ему в этом доме все же перепадет что-нибудь на зуб, театрально выпучил глаза и, разинув рот, очень правдоподобно сделал вид, что крайне удивлен услышанному.

– Да ты чё?!

– А то! Вертаюсь я вчера из городу – ездил на рынок курей продавать – ага. Ну, курки мои, жалиться не буду, хорошо пошли. Они у меня даром что иичек золотых не несут. У других кого – таких нет. – Будто подсчитывая в уме вчерашнюю прибыль за проданную птицу, Степаныч на мгновение замолк. – Ну, купил на вырученные деньги всяку нужну чепуху в дом да на оставшиеся рублики колготы Нюрке справил...

Рассказывая, он выбрал из капустных кочерыжек, горкой лежавших перед ним, самую крупную,



ловко обкорнал ее своим страшным тесаком и с серьезным выражением лица протянул Олегу.

– На, схрумкай! Угоститься хотел?

Страдая отсутствием большинства зубов, Олег, недобро глянув на соседа, отказался.

– Зря! – заметил ему «щедрый» Степаныч. – Говорят, шта в ей польза есть огромная: вся таблица Менделеева. – в два прихруста уничтожив кочерыжку, он взялся за другую. – Ну вот, вертанулся я, стало быть, уж поздно было. Пока туда-сюда похозяйничал малость – свинушек накормил да коровкам водицы дал испить – тут и ночь на двор опустилась. Ага. Повечеряли мы с Нюринбергом – эт я Нюрку свою так промеж собою называю за характер её поганый – и в койку полегли. Лезу, стало быть, к ней, – в этот момент лицо Степаныча широко разлилось в улыбке, – сам понимаешь, заслужил: колготы привез! М-да... Лезу к ней, пострадать предлагаю, а она, зараза, отпихивается, к стенке жметса. Я сперва подумал, что жонка моя законная совсем уконтропупилась от трудов хозяйских. Хозяйство-то у нас – ого-го! Сам вишь – большое, не то что у некоторых. – При этих словах Олег, у которого кроме десятка кур да одного худого поросенка отродясь ничего не водилось, сконфузилса. – Потом приняхался, чую, а от ейного тела не то солярой несет, не то мазутом. Думаю, ну точно захворала да всякими вонючими мазюками обмазалась. Эт она любит! Тока потом уразумел: не хвораю она, падла! Ага. Давай допытывать. В обчем, пока я ей в городе колготы куплял, они с Вовкой Солидолом тут вась-вась крутили, понял? Тот к ней в гости заходил, навроде как меня искал...

Тракториста Вовку Лопырева, по кличке Солидол, в селе знали все. Трижды разведенный, сорокалетний Вовка был еще тот гулёна. После нескольких мордобоев с местными мужиками доморощенный Казанова зарекася ходить по своим сельчанкам, повадившись навещать женщин из соседних деревень, но тут, видать, не устоял.



Олег представил картину, как вчера, постучавшись во двор Степаныча по какому-то завалющему делу, Солидол увидел пышногрудую Нюрку. Привычно покачивая своими похотливыми бедрами, местная «звезда пленительного счастья» наверняка принялась «строить» ему глазки. Естественно, что у мужика крышу и сорвало. Не то, чтобы Олег завидовал Солидолу, а совсем наоборот. «Теперь достанется Вовке на орехи, – подумал он, искренне жалея товарища, – если только не сбег на пару недель из села, пока у Степаныча не уляжется на душе».

– Вот я ей, паскуде, лещей-то и отвесил, – продолжал Сергеев, подсовывая под нос Олега свой огромный кулачище. Все это он рассказывал со смехом да таким страшным, что у Олега неприятно ослабли ноги в коленях. – Рука-то у меня – будь здоров! Нюрка моих лещей еще по нашим прошлым местам проживания помнит. Ты думаешь, шта мы с ней сюда переехали жить? И где нас только с ней не носило: и в Поволжье жили, и в Горный Алтай нелегкая занесла – и отовсюду я её увозил. И знаешь, почему?..

Запах готовящихся щей все сильнее щекотал ноздри Олега, заставляя больше думать о еде. Догадываясь, что на удивление разговорившийся сегодня Степаныч долго не отпустит, пока не вывернет всю свою душу наизнанку, Олег продолжал придавать лицу выражение озабоченной внимательности. Чего другого, а свободного времени у него было в избытке, поскольку никакой обременительной заботой типа обязательной работы он свою судьбу в последнее время не спеленал. Однако Олег справедливо полагал, что такие откровения лучше всего пойдут под водочку с хорошей закуской, о чем тут же не преминул поведать соседу.

На этот раз – о, чудо! – Степаныч уступил легко. Олег ликовал, глядя, как Нюрка, приправ всю капусту со стола, вынесла во двор слегка початую бу-



тылку самогона и нехитрую снедь. В дом, конечно, хозяева его не впустили, но свежими щами угостили.

Выпив вместе с ними по стопке первача, Нюрка как-то сразу потеряла к мужчинам интерес и надолго исчезла в доме, еще раз успев многозначительно подмигнуть супругу. Повеселевший Олег запрокинул голову набок. В этот момент ему неожиданно вспомнились ее загорелые бедра. С неохотой смахнув с лица наваждение, Олег вернул Степаныча к прерванному разговору:

– Так почему ты увозил жену отовсюду? Любишь, небось, до смерти! Смотри-ка: «лещей» надавал за такое, а мог и укокошить!

Степаныч посуровел.

– Я те чё, убивец какой? Убивать бабу за супружеский грех нельзя, потому как сказано в Писании: не убий! Да и какой это грех у баб – так, плевков. За то судьба сама наказание вынесет кому надо. А только в Нюрке моей вины за похотливость никакой нет, понял? Эт все мужики, сволота всякая пользуется ее хворью. Вот потому и увозил отовсюду. – Он тяжело вздохнул. – Бешенство матки у ней случается! Слыхал про таку бабью хворь? Раньше у ней часто бывало, теперь не так. – Опрокинув в себя еще рюмку, Степаныч зажевал ее куском сала. – То мне доктор один на Урале пояснил. «Бешенство, – grit, – у супруги твоей имеется в наличии, и должен ты ее всякий раз от этой напасти спасти, потому как не владычица она своего разума». Он, скотина, тоже был у ейной койке. Я его как-то оттель вытащил, но бить не стал. Других бил, а этого хлюпика не стал. – Степаныч ослабился, вспоминая старую историю. – Бедолага как меня увидал, так сразу стал жалиться, шта не помнил, как у них с Нюркой вышло всё. Говорил, шта как увидал её белые груди, так и шмякнулся в...

– В постель ейную? – подсказал Олег, наливая по очередной.



– В какую постель? В столбняк! Ничего мужик не помнил, понял?

«Да я-то понял, – злорадно усмехнулся про себя Олег, удивляясь наивности доверчивого соседа. – Эт ты у нас недогадливый». Он с каким-то почти медицинским сожалением глядел на Сергеева. Наверное, так психиатры смотрят на своих подопечных, когда понимают, что дело безнадежное, но вслух произнес:

– Соглашусь с доктором. Прав он. Нюрка у ты баба видная, прям королевна. За ней глаз да глаз нужен и не гоже таку бабу одну в доме оставлять на целый день. Выходит, что сам ты и виноват во вчерашнем происшествии!

– Как это? – искренне удивился Степаныч такому повороту в их разговоре.

– Ну как, как?! Ежели у ты в дому королевна, так за ней постоянный пригляд нужен, а ты жену свою меняешь на курочек да свинушек, что на рынок возишь. Курки – там, а Солидол – тут как тут! Вот такая, понимаешь, арифметика! – Олег как мог завуалировал свое презрительное отношение к куркулисту соседу-рогонослу.

Степаныч задумался, молча всосал в себя очередной стопарик и снова задумался. «Уж не оскорбить ли надумал меня этот плюгаш несчастный?» – мелькнуло в его начавшей хмелеть голове.

– Я тебе так скажу, – смачно сплюнув в сторону, Степаныч медленно заворочал языком, – одинокому ханорику навроде тебя нас, семейных, не понять. У Нюрки моей ума – палата! По мне – пусть побалуется кой раз, лишь бы дому не во вред, понял? Ты сам-то женат был?

– А как же! Почти год.

Олег сделал вид, что не обиделся на «ханорика». За дармовую выпивку он мог и не такое простить человеку. Впрочем, распространяться о своей первой и единственной законной супруге, которая оказалась столь истеричной особой, что он, не вы-



держав недолгого совместного проживания, в одну из зимних ночей сбежал обратно в родительский дом, ему не хотелось.

– Вишь! А я с Нюринбергом, дай бог памяти... э... Ну да ладно. Вот тебе еще одна моя история. – На радость Олегу, раздобревший после выпитого Степаныч продолжал впадать в глубокие воспоминания. – Я свою Нюрку у соседа по улице умыкнул, ага! Сразу после того, как из армии дембельнулся. М-да! Та иша хохма была, что ты!

Олег в очередной раз наполнил стопки, уж очень мелкие, как он полагал, для такого душевного разговора, и демонстративно принялся рассматривать пустое доньшко бутылки, намекая хозяйину на добавку.

– Степаныч, может, еще первачка нацедишь? – осторожно попросил он, готовый и дальше с радостью отдаться вязкому разговору.

– Нету у меня такой коровки, чтоб самогом цедила вместо молока, – огрызнулся тот. – Хватит с тебя и одной бутылки. Следующий раз приходи, када таку коровку прикуплю. Слухать будешь, нет?

Поникнув головой, Олег развел руками, дескать, а куда я денусь! Обижать Степаныча, не дослушав его внезапную исповедь, не стоило, ведь ничто так не огорчает человека, как нежелание быть услышанным.

– Хороша была девка, ох и хороша! – Сергеев отрыгнул воздухом: прощальный привет от кочерыжек. – Я как пришел на дембель, компанию собрал. Заявился и Тимоха со своей кралей. На Урале то было. С Тимохой мы до армии малость корешились. Его раньше призвали. Вернувшись, он сразу же и оженился, мда. Я как увидел Нюрку, веришь, так в голову кровь и вдарила...

– Кровь? Может, водка? – Олег опорожнил последнюю стопку, удовлетворенно крякнув. – Хорошо пошла, Степаныч! Сейчас бы еще немного для



полного счастья, а! – почти взмолился он, призывая того к состраданию.

– Та погода ты! – Сергеев злобно зыркнул своими немигающими поросячьими глазками. – Ладно, ща поговорим маленько, а опосля иша налью...

Словно крылья выросли у Олега после этих слов. «Нет, что не говори, а сосед у меня мужик что надо! – подумал он. – С бабой вот только не свезло. С бешенством оказалась... это... матки. Случается же такая напасть!»

– Кровь, говорю, ударила. Ну, думаю, моя будет. Сидит напротив вся така ладненька да румяна, понял, глазками, чую, всего меня раздевает. Назавтра аккурат, когда мои на ферму ушли по работе, заявляется Нюрашка к нам в хату, навроде как за крупой. А я, прикинь, со вчерашнего бодуна с головой не дружу, не могу сообразить, за какой-такой крупой? Как увидала меня, так глазки ейные похотью и налились, и грудь, ты понял – вверх-вниз, вверх-вниз! Ну а чё! Я ведь спортсменом был, гири качал. Фигура – что твой Иван Поддубный! Увидала девка и... померла. Притянул я ее к себе на кровать, ну, это самое, ага... Вскочила потом, оправилась.

– Дурак, – грит, – мужняя я! А ну как пойду и мужу нажалуюсь!

– А не скажешь! – грю. – Срамиться не захочешь.

– Дурак, – грит, – как есть – дурак! Знать после такого ты не хочи и видеть не желаю...

– В обчем, навроде как обиделась, а только назавтра снова пришла, хе-хе-хе, за... крупой, понял! Вот так мы с ней и начали встречаться. Ну а када забрюхатила, тут я ей прямо и сказал: «Оставайся в моей хате и к Тишке не ходи. Я с ним сам потолкую». Двоих сынов она мне нарожала, так-то вот...

– Слушай, я все хотел спросить: а где ваши дети? Учатся в городе или как? В селе я их редко вижу.

– Сынки-то мои? Да кому нынче нужна та учеба? Балбеса гоняют в городе. Пробовали, конешна, чем-то заниматься, да не вышло. И порешил я их



обратно вернуть домой. Малость погуляли и хватит. Пусть при батьке живут. Вон Нюрка, не голова, а дом советов, мыслью одну подкинула, – начал было Степаныч, но тут же осекся. – Так о чем это я говорил? А, о Тишке...

– И чё, мужик ейный так просто и уступил? – Олег подыскивал очередной момент в разговоре, когда можно будет напомнить об обещанном самогоне.

– Зачем так просто? – Воспоминания о прошлом невероятно оживили Степаныча. – Мужуку за свою бабу положено заступничество иметь, вот он и пошел на меня с тяпкой. Гы-гы! Вилы-то убоялся взять! Ну, я ему парочку зубов расшатал, а он мне ухо порвал, на том и разошлись. Куда со мной тягаться-то? – искренне удивлялся Степаныч, разгладывая свои кулачища. – Я ить многим Нюркиным ухажёрам зубы пересчитал. Светили опосля по ночам лунным светом. – Он еще громче загоготал. – В народе так и говаривали: раз фиксатый – значит, на кулак Степаныча нарвался! Вот и Вовка Солидол теперь в район поедет протезы себе ставить.

Сергеев на время умолк, о чем-то задумавшись.

– Погодь-погодь! – вдруг уставился он на Олега, меняясь в лице. – А ты чего приперся-то? К Нюрке моей, чё ли? Можя, тоже думал, что я в город уехал?

Очевидно, пары самогона крепко ударили в голову этому ненавистнику всех холостяков. Глядя, с какой яростью цедились слова из стиснутых челюстей Сергеева, несчастный Олег, удивленный столь резкой перемене в настроении соседа, слетел с табурета. В груди гулко заколотило.

– Ты эт о чём? – О второй бутылке он уже не мечтал, готовый в любую секунду дать стрекача. – Я это... ножовку хотел на часок попросить! – Олег едва приходил в себя, выравниваясь в спине. – Вишня у меня высохла, спилить хочу, а свою ножовку затерял где-то. Зашел к деду Саньке, думал у него взять...



– Затерял! – скривился Степаныч. – Она хоть когда-то была у тебя, та ножовка?

– А то как же...

– Нету, – быстро выпалил Сергеев, глядя себе под ноги. – Хтось из людей забрал. Такой же недомерок, как и ты. Все ходите, клянчите! И шта за народец такой поганый пошел, ничё своё не имеет! – Подняв со стола тесак, он принялся разглядывать острие. – Ходят тут всякие, понимаешь, чужих жен своей похотью марают. Ножовку ему подавай! А ну пшел вон, последыш человеческий! – Возвысившись горой над столом, заметно захмелевший Сергеев злобно посмотрел на Олега. – Дадишь такому заморышу каку вещь, а он и замотает...

– Да верну я, Степаныч, не жадись! Ей-богу, верну!

– Кто там вернет?! Нету. Давай, чахоточный, ходи домой от греха подальше...

Не дожидаясь, когда его вытолкают вназад, Олег поспешно заковылял к выходу. «Вот скупердяй, ножовку зажал! Осенью и листья ржавой не выпросишь!»

– Ходи-ходи! – Степаныч сопровождал его до самой калитки. – И неча приходить сюда, када меня тут нету, понял?

– Так ты же есть!

– Нету! Для тебя, червяк, нету.

Поведение Сергеева могло быть оскорбительным для любого мужчины. Кто другой, пожалуй, немедленно бы полез в драку, но только не Олег. Трусоватый от природы он, заискивающе улыбаясь, промямлил:

– Ладно, я это, к деду Саньке загляну, может, возвернулся уже...

Как же он ненавидел себя в эту минуту.

– В кутузке твой дед Санька! – бросил Сергеев, собираясь захлопнуть калитку. – Забрали его. Сидит сейчас, поди, цифирь с братками гоняет.

– Что ты сказал? – Успев сделать несколько торопливых шагов в сторону от него, Олег остановился. – То есть как в кутузке?



– А вот так! Забрали твою собутыльщика и вся недолга. За наркоту, понял? Коноплю у себя выращивал.

– Кто, дед Санька? – Олег очумело вытаращил на него глаза. – Да с чего? Он отродясь своих рук ничем таким не марал.

– Значит, скрывал умеючи. Нынче всяк шустрит как могёт, придумывая себе всяко разное дело, чтобы побольше заработать. Я вот, курей рощу, а этот, хе-хе, анашу растил.

– Ты чё мелешь, Степаныч? Чё несёшь?

В Олеге вдруг проснулась небывалая ярость, густо замешанная на отвращении к самому себе за трусливость характера. В два прыжка он допрыгнул до Сергеева, схватил его за ворот рубахи, но тут же получив кулаком под дых, мешком повалился наземь.

– Но-но, не балуй, червь поганый! – заорал Митрофан на всю улицу. – Ишь шта удумал: кидаться на меня! – Схватив валявшегося Олега за тощую шею, здоровяк резко поставил его на ноги, а затем, поддав позорного пинка, отшвырнул подальше от себя. – Я его как человека первачом уважил, а он мне рубаху рвать... Во народец!..

Вернувшись домой в расстроенных чувствах, Олег в задумчивости упал на кровать. Не о своей неудачной схватке с Сергеевым он сейчас думал. В селе было многим известно, что кое-кто из местной молодежи покуривал травку. Ребят забирали, какое-то время держали для остратки в участке, устраивая жесткую взбучку с элементами устрашения, а затем отпускали. По слухам, сажали только наркоторговцев, но в их селе таковых не было. И вот теперь, если верить словам Митрофана Сергеева, в сбыте запрещенного препарата подозревали – трудно поверить! – деда Саньку...

Хорошо зная старика, Олег несколько не сомневался: произошла чудовищная ошибка. Его добро-



порядочный семидесятилетний сосед никак не мог быть замешан в наркоторговле.

Схоронив год назад супругу, дед Санька остался в своем добротном доме совсем один. Оба его сына, запойные, покинули белый свет много раньше. Время от времени старик и сам прикладывался к бутылке, но меру знал. Жалея одинокого человека, Олег не раз угощал его. Поговаривали, что в соседнем районе проживали родственники деда Саньки: внуки от старшего сына Кольки. Однако Олегу старик, с которым он сдружился в последнее время, об этом ничего не рассказывал.

На следующее утро, приведя себя в порядок и надев лучшую рубаху, Олег отправился на прием к местному участковому, майору Усачеву, желая донести инспектору общественного порядка, что произошла ошибка и старика надо выпускать...

– Нет никакой ошибки, – сказал, как пощечину дал, майор. – Нашли! Несколько кустов конопли нашли в его саду. Так рядочком аккуратно и росли вдоль забора. Сам ходил к нему вместе с людьми из Управления по наркоконтролю.

Олег растерялся.

– Возможно, дед и не знал про то, что растет у него на участке? Вон сколько всякого бурьяна вырастает само по себе на огородах. Тут тебе и лебеда, и полынь, и мальва – да мало ли что задуло ветром? Я вот, к примеру, и не знаю, как выглядит эта самая конопля. Думаю, что и дед не ведал. Растет себе чтой-то в огороде, ну и хай себе растёт!

– Может, и не знал, – глядя в окно на кур, копошившихся во дворе, устало произнес Усачев. – А что если знал? Поди теперь, дознайся.

– Михалыч, надо деда спасти! – стал горячиться Олег. – Старый он, хворый. Помрёт еще в СИЗО.

– Скажешь как – спасем! – Участковый продолжал пялиться в окно. – Мне самому не хочется брать грех на душу, да только тут видишь какое тонкое дело получается, – повернулся он наконец к Олегу. –



Спецсы из наркоконтроля – люди ушлые. Они сразу просекли, что конопля не сама по себе выросла.

– Как это? Чёй-то я не пойму. – Олег заерзал на стуле. – Настаиваешь, что дед сам посадил?

– Ты огород его видал? Все ухожено...

– Так знамо дело: дед Санька всю жизнь на земле прожил, питался с нее. Огород у него всегда образцовым был. Он с каждым деревцем по душам разговаривал...

– Верно, огород у него ухоженный – будь здоров! Ни камешка лишнего, ни травинки, а вдоль забора – буйным цветом конопля зеленеет. Будто специально на показ высадил. Или высадили! – добавил Усачев, нахмурившись, отчего его не по годам состарившееся лицо собралось в морщинистый комок.

– Михалыч, ты же знаешь деда Саньку! – Теряя самообладание, Олег вскочил со стула. – Ну на кой ему мараться? Ты же не веришь в то, что он мог...

– Не важно, во что я верю, – прервал его участковый, не желая дальше продолжать разговор. – Наркомании в стране объявлен бой. Сейчас за понюшку анаши могут запросто десятку припаять, а то и больше. Ты иди, Олег Петрович, лучше глянь на свой сад-огород. Как бы и у тебя кто-то из соседей чего не нашел.

– Это в каком смысле?

– А в таком! Живешь ты тоже одиноко. Может статься, что и твой приусадебный надел кто-то возжелает прихватизировать.

– Постой, постой! – Догадка осенила Олега. – Михалыч, уж не намекаешь ли ты, что на участок старика ктой-то позарился?

– Я тебе ничего не говорил. Считаю это моими мыслями вслух. – Усачев неожиданно тихо, почти беззвучно выругался, а затем гневно продолжил: – Я с Колькой, сыном деда Саньки, в одном классе учился! Мы вместе в армии служили! Знаешь, каким мужиком он был, пока его волю змей зеленый не парализовал?



– Как не знать Кольку...
– Что же ты думаешь, что я смог бы вот так запросто упечь его отца в каталажку? Я в их доме хлеб-соль раз сто ел. Да только против фактов не попрешь. – Майор взглянул на часы. – Все, заканчиваем этот разговор: мне в район пора ехать. Узнаю что – сообщу, раз ты так печешься о старике. – Схватив лежавшую перед ним папку с документами, он кинул ее в стол, с грохотом захлопнув ящик. – Видать, ты один и остался верен дружбе. Остальные соседи все как один воды в рот набрали. Живут, гады, каждый за свой живот держится. Хоть бы кто пришел, поинтересовался судьбой человека! Так и живем веками: всяк абстрактно талдычит о судьбе страны, как тот паршивый политик, а чем живет его ближайший сосед – начхать.

Олег направился к двери.

– А ты, Михалыч?

– Что я?

– Ты остался верен старику?

– Иди уже, – махнул рукой Усачев.

– Вот видишь, значит, нас двое! – Ступив одной ногой в коридор, Олег оглянулся: – А как люди из наркоконтроля узнали про то, что у деда трава растет? С улицы-то его огород не видать?

– Письмо получили. От кого – даже мне не сказали. Но наводка была точная.

– Стало быть, стукач в селе объявился?

– Добропорядочный гражданин! Так это называется официально, понял?

– И ты знаешь кто? – Олег выжидательно смотрел на инспектора. – Вроде как все свои, местные, должен подозрение иметь. Поделись, Михалыч!

– Догадку имею, но говорить не буду. Не пойман – не вор! Народ нынче весь скурвился. Любой мог застучать, – уклонился он от ответа. – Вот хотя бы ты, к примеру, или твой вчерашний собутыльник.

– Откуда знаешь, что я вчера выпивал? – удивился Олег. – Неужто доложили?

– Я же говорю: народ ссучился...



Всю обратную дорогу Олег провел в размышлениях, думая, кто бы мог настучать на одинокого безвредного старика. «Это кто-то из своих, из близких соседей, – решил он. – Тот, кто бывал вхож во двор к деду. Возможно, даже помогал ему по хозяйству». Из головы не выходили слова майора о том, что кто-то просто мог позариться на участок старика.

Уже почти свернув к своему дому, Олег резко остановился, мгновение потоптался на месте и решительно развернулся обратно, держа курс к магазину, где можно было приобрести спиртное...

Перед тем как снова посетить Митрофана Сергеева, Олег прошелся перед пустовавшим жилищем деда Саньки. Так и есть: за домом и давно заброшенными хозяйственными постройками огород старика с улицы не просматривался. Убедившись в этом, Олег, не дожидаясь разрешения, решительно вошел во двор его соседа, намеренно громыхая железной задвижкой. В вытянутых руках он держал бутылку «Перцовки» и батон дорогой колбасы. Олег все рассчитал верно: увидев его в окно, скупой Степаныч тут же выскочил навстречу.

– Ну ты чё, Олежка, никак мириться пришел? Ото верно! Так обидеть соседа зазря...

– На то мы и соседи, чтобы мириться! – Олег пытался улыбаться естественнее. – Как говорится: кто старое помянет, тому...

– А кто забудет, тому оба глаза... – Приглашая его за знакомый столик во дворе, Степаныч обнажил в ухмылке крепкие зубы.

– Ты меня вчера уважил, дай, думаю, сегодня я соседушку угощу. – Ставя бутылку на стол, Олег передал Степанычу колбасу и выуженную из глубокого кармана брюк плитку шоколада. – А это твоему Нюринбергу, это самое, за щи! Уж больно хороши были. Бабам шиколат для цвета лица очень даже полезен. Это я по своей первой супружнице помню. Все требовала покупать ей. – Театрально перекрестившись, он тут же добавил: – Слава Богу и последней.



Поставив перед Олегом большие граненые стаканы, Степаныч, не желая тратить много времени на своего непутевого соседа, предложил:

– Разливай сюда! Чего тянуть kota за хвост мелкими тянучками? Осилим ее, заразу, в два прихлопа, да делу конец. Ты звиняй: работы ноне очень много...

Уже после первого стакана язык у Степаныча развязался, и он снова пустился в воспоминания, кого еще на этом свете обидел его могучий кулак. Дождавшись момента, Олег плавно перевел разговор в нужное ему русло.

– Степаныч, ты говорил, что сыновей хочешь возвратить домой да оженить...

– Так и есть. За старшего аккурат перед армией девку одну засватали. Специальность у него имеется: в армии электриком стал. Дам председателю на лапу, он его и устроит на должность. Как ни крути, а зарплата будет, да и левака завсегда можно сделать. Электрик в селе, Олежка, – первейший специалист пося тракториста. Нужный всем человек. Ну и, конешна, хозяйством наделю.

– С тобой будет жить? – осторожно поинтересовался Олег.

– Неа, домишко Нюрка молодым уже присмотрела. По– соседству сядут.

– Эт кто же продает? Чёй– то я не слыхал.

– Дык, деда Саньки дом и возьму, – проговорился Степаныч. – Полагаю, старику– то он уже без надобности будет...

Подозрения Олега подтверждались. Он ловил каждое слово Митрофана, едва сдерживая себя от негодования.

– Верные люди сказывали, что назад старик уже не возвратится: заболел в СИЗО. Врачи у него навроде как воспаление легких признали или даже туберкулез, не помню. А в тюрьме сам знаешь какое лечение. – Взяв в руки стакан, Митрофан Сергеев изобразил на лице сочувствие. – Конешна, мужика жалко, да, видать, на роду у него так было написано.



М– да! Человеческая жизнь... Бог всем заправляет на земле. – в три глотка опорожнив в себя содержимое, Степаныч бережно поставил стакан на стол и закурил большим куском колбасы. – А домишко, чтобы не остался без догляда да не сгнился без надобности, я у председателя за гроши выкуплю. Я уже подходил к нему...

В эту минуту Олег ненавидел своего соседа больше, чем когда-либо. Теперь он был абсолютно уверен: провокация с коноплей – его рук дело.

– И чё председатель, согласился?

– Не– а! Матом обругал и из кабинета своо выпер, точно как я тебя давеча. Ну ничего, зараза. – Он близко придвинул свое лицо к уху Олега и выдохнул: – Забашляю – никуда не денется! Не таких покупали.

– Я слышал, что у деда Сашки родня имеется, – нарочито ленивым тоном поведал Олег. – Им дом достанется.

– Ты про его внучат, чё ли? Так дед Санька с ними не якшался! Он сам про то сказывал. Жалился, шта забыли об нем, как только на пенсию вышел и перестал денег давать. Те еще кровососы!

– Говорил не говорил, а по закону, если помрет, они его наследники.

– Во! – Вытянув вперед кукиш, Степаныч побагровел. – Мой дом будет, понял? Удобственно мне рядом с собой сына посадить. Свой дом опосля меня младшему сыну перейдет, и будут два братана жить по– соседству. А коли еще промеж собою дружбу сохранят, дак их никто тада никогда не сломит, понял?

Избавив свой стакан от содержимого, Олег брезгливо поморщился, но не от напитка, а от мерзавца, сидевшего напротив, алчности ради отправившего старого человека на верную погибель.

– Чего ж не понять. Слушай, Степаныч, – Олег придвинулся ближе, – ты давеча сказывал, что дед Санька коноплю выращивал. Покажь место, может, чё осталось.

– Тебе зачем? – насторожился Митрофан.



– Курнуть охота. Косяка по молодости забивал, нет?

– Не курю я эту дрянь и тебе не советую, – не подзревая подвоха, ответил тот. – Да и не осталось там ничего: власти все подчистую подмели.

– Да ладно, подчистую! Наверняка трава осталась где-нибудь. Покажь, где росла, – продолжал настаивать Олег. – Я умею готовить. Вместе и курнем. Пару затяжек и ты такого любовника дадишь своему Нюринбергу, что она более никогда ни на кого из мужиков не позарится. Я те отвечаю! Да чё там Нюрка?! Любая баба твоя будет. В городе – то имеешь кого, нет?

– Да есть там одна на рынке: утят продает. Ничего так бабенка. Можно попробовать. Только мне бы Нюрку сперва, это самое, от бешенства... – Немного подумав, Степаныч запротестовал: – Не, не получится. Ничего не выйдет...

– Выйдет, выйдет, я те отвечаю! – не отступал Олег. – Пойдем! Сварганим косяка – попробуешь! Попытка не пытка. Не поможет – бросишь и вся недолга. А ну как поможет? Бабы, они знаешь, они героев любят! Так, чтобы на всю ночь... Пошли, я тебе говорю, никто не узнает.

Немного поколебавшись, Степаныч наконец согласился.

– И то верно, чё я теряю? Ладно, пойдем через мой огород. Там нас никто не засечет.

Наблюдая, как осторожно, бесконечно оглядываясь по сторонам, Степаныч двигался вдоль обитого старыми досками забора, Олег, как заправский босяк, сплюнул сквозь зубы.

– Да ты не дрейф, корефан! Я те отвечаю: затянешься дуревом – заторчишь! Такой приход получишь, в натуре...

– Говоришь, на баб точно имеет воздействие?

– Легко!..

Место в саду деда Саньки, где полицейские нашли дурь – траву, хорошо просматривалось только со стороны огорода Сергеева. Последние сомнения



исчезли. Теперь картина выстраивалась следующая: задумав худое, Митрофан Сергеев посадил семена запрещенной травы и, дождавшись, когда та взошла, настучал куда надо.

К счастью, остатков криминального сорняка они нигде не обнаружили. Что делать по-настоящему с коноплей Олег не знал, потому как страшнее папирос никогда ничего не курил. Всю эту историю с косяком он придумал лишь для того, чтобы утвердиться в своем подозрении. Помнил только, как однажды в детстве родная бабушка приложила прогретые семена конопли к его воспаленным коленкам. Чудесным образом суставы очень скоро перестали болеть. Так исстари лечились в их краях. Это потом местные наркоманы прознали про другие свойства одурь-травы...

Провожая Олега до калитки, разом поскучевевший Степаныч сожалел:

– Непруха, ити ее! Я уж надумал и впрямь попробовать травку... ну, для запала с Нюркой... А ежели, к примеру, я достану тую травку, сварганишь косячок? Кто знат, можа ее и впрямь перестанет тянуть к чужим мужикам, а, как думаешь?

Услышав, что Митрофан может достать запрещенную траву, Олег на мгновение возрадовался. «Вот шанс отомстить падле за деда Саньку и самого упечь за решетку!» – мелькнуло в его голове, но уже через секунду он отверг эту крамольную мысль, вспомнив народную мудрость: «Не копай другому яму – сам в нее угодить можешь!» Каким бы подлым не был Митрофан, но тюремной доли Олег не желал никому. Однако он уже не в силах был дальше сдерживать свои эмоции.

– А ведь это ты, сучонок, сдал ментам старика! – вырвалось у него. Они стояли на улице друг напротив друга. Как ни странно, Олег больше не боялся здорового соседа. И смелость ему придавала не выпитая водка, а нечто другое, что открылось в его характере. Иногда одна-единственная несправедливость может разбудить в нас скрытого до поры



до времени неизвестного нам человека. – И все это ради того, чтобы сына рядом на землю посадить?

Поняв, что разоблачен, Митрофан Сергеев мгновение стоял безмолвно, затем его ноздри раздулись, лоб насупился:

– Ты щяс чего вякнул– та, голь перекатная?

Олег приготовился к худшему, но отступить не собирался.

– Иди, сучонок, покайся участковому, пока не поздно! – глядя в наливающиеся яростью глаза Митрофана, сказал он. – Пожалей старика!

Увернуться Олег не успел, столь стремительно прилетел кулак. Отлетев на пару метров, он всем телом глухо ударился о землю. Почувствовав во рту соленый привкус крови, Олег выплюнул ее вместе с остатками зубов.

– Вот иша на одного фиксатого в селе прибавится, – злорадно выдохнул Сергеев, и с силой приложившись ногой к ребрам поверженного соседа, скрылся за калиткой...

Несколько дней Олег не выходил из дому, дожидаясь, когда с лица спадут отеки. Нижняя губа была порвана. Болели ушибленные ребра, отчего дышалось тяжело. Наконец, он снова смог навестить участкового.

– Кто это тебя так? – поинтересовался Усачев, изучая побитое лицо Олега.

– Упал. Ночью из сортира выходил и споткнулся о порожек.

– Видать, несколько раз падал, – улыбнулся майор. – Должно быть поносом, страдал?

– Оно тебе надо, чем страдал?

Говорить правду Олегу не хотелось из– за Нюрки. В тот день, услышав за калиткой шум, она, перепугавшись, выскочила из дому. Увидев его окровавленное лицо, женщина решила, что это из– за нее, и запричитала, впрочем, негромко, чтобы не услышали соседи.

– Приревновал, чёй ли? Вот дурень! Ты б не ходил более к нам, а? – попросила она. – Убьет ведь, зверюга!..



Рассказав участковому о своих подозрениях в отношении Сергеева, Олег снова просил его принять участие в судьбе старика.

– Подстава это, Михалыч! Жалко деда! Ни за что ведь сидит!

– У нас ни за что не сажают, не те нынче времена, – отрезал майор.

– Ну ты мне тюльку – то не гони! Ждешь, когда этот леший отберет дом у старика?

– Не отберет. По закону дом принадлежит его родственникам.

– По какому такому закону, Михалыч?

– Закон у нас для всех един.

– Законы в нашей стране пишутся для того, чтобы уметь их обходить.

– Пока дед жив, дом его. Так что можешь не беспокоиться.

– Я слышал – захворал старик?

– В лазарете. – Усачев вынул изо рта окурок и вдавил его в стеклянную пепельницу. – Лежит с пневмонией. Ему там сейчас будет лучше, чем дома. Какой – никакой, а уход имеется, кормежка. Опять же постель чистая, белье. Пусть полежит покамест, подлечится, а там видно будет. Ну ты скажешь, кто к твоему лицу приложился, нет? Суток на пятнадцать обещаю засадить.

– Не гоже это, Михалыч, – причитал Олег, пропуская мимо ушей вопрос. – Домой бы старика надо, в обычную больничку. На свободе и душа взиграет, глядишь, и на поправку быстрее пойдет!

Участковый встал.

– Ну, не скажешь, тогда иди домой, Олег Петрович, подлечи морду лица, а то смотреть тошно. А надумашь кого посадить за драку – пиши заявление! Если виноват – отсидит.

Сажать Митрофана за драку с ним Олег и не думал, не за тем приходил к участковому. Сознывая, что законным путем справедливости не добиться, он решил к Усачеву больше не обращаться.



Промаявшись два месяца в тюремном лазарете, дед Санька скончался, так и не сумев побороть хворобу. Как всегда, молва об этом быстро разнеслась по селу. В крайнем раздражении Олег прибежал к участковому.

– Как же так, Михалыч, ну как же так? Ты ведь обещал разобраться! – негодовал он.

Майор Усачев привычно смотрел в окно и молчал. Олег упал на стул.

– Был человек и... не стало. Словно и не был во все. Ни детей, никого...

– Внуки остались, – напомнил ему участковый. – Старшему восемнадцать стукнуло. В армию собирается. Ездил я к ним в село. Хотел поговорить, обещасить, да только опоздал. Сосед твой, Митрофан Сергеев, успел там побывать до меня. Денег дал, а заодно бумажку на подпись, что, мол, так и так, продаем дом и все такое этому господину. – Усачев вынул из лежавшей на столе пачки две сигареты и одну протянул Олегу. – По закону все сделал правильно, не подкопаться!

– Я ж тебе говорил: законы для прощелыг! Обычный человек в них утонет и не поймет, как получилось. – Глубоко затянувшись, Олег схватился за уши-бленную грудь: ему все еще трудно было вдыхать. – Сука ты, майор! – не отводя взгляда от инспектора бросил Олег. – Не вытащил старика.

– Да какая разница, где бы он помер? Хворь его извела!

– А говорил – хлеб–соль у него в доме ел! Сука ты. Знаю я деда Саньку. Не от хвори он помер – от тоски.

Усачев начал оправдываться:

– Там за ним уход был! Старик хоть пожил последние пару месяцев человеком...

Притушив окурок о дно пепельницы, Олег встал и пошел к выходу.

– Уход, говоришь? Там не было самого главного – свободы! А без свободы при любом уходе человеку тоска. – Остановившись в дверях, он обернулся:



– Дом у старика хороший остался. Внукам пригодится. Поучи их уму–разуму, пусть оставят себе.

– Пытался учить – не вышло. Нищелюды! Как деньги увидели, так разум за «сорокаградусную» и спрятался.

– Что, и эти сосунки выпивают? Малые ведь совсем?

– Не пьют – лакают! Может, хоть армия отведит их от этой напасти...

Погода в день похорон деда Саньки выдалась чудесная. Солнце ласково освещало двор, прыгая «зайчишками» по окнам его дома. Хоронили старика на скудные деньги, собранные ближайшими соседями. Немного выделил председатель сельсовета. Он и привез тело покойного на погребение в село. Мужики из окрестных домов снесли во двор столы, а бабы принялись их накрывать. Каждый что мог приносил с собой. Родственники упокоившегося на погребение так и не явились.

Как и заведено исстари на поминках, сначала присутствующие выпили за усопшего раба божьего, вспоминая безобидного деда Саньку. Затем, изрядно подпив, разговоры потекли о жизни с ее всевозможными подлыми проявлениями.

Олег сидел на краю стола и в общих разговорах не участвовал. Выпив лишь один стакан за светлую память старика, которого – теперь он это понимал – уважал как отца, он отдался собственным воспоминаниям.

В этот скорбный для него день в голове с самого утра возникали картинки из прошлой жизни и тех редких дней счастья, когда еще были живы родители. Ничего ярче Олег вспомнить не мог...

Поминками деловито руководила чета Сергеевых, по–хозяйски отдавая приказы налево–направо. Заметив скучающего Олега, супруга Степаньча подошла, деловито наполнила его пустующий стакан и, нагнувшись, прошептала:

– Олежа, сёдня такой день! Ты уж прости Стяпаньча, неутешного мово муженька, за тую драку.



Любил он деда Саньку, как своо родного. И доселе любит. Вот, решил домом его обзаняться, чтобы никака друга сволота к рукам не прибрала.

Олег чувствовал на своем плече горячую грудь Нюрки и едва сдерживался, чтобы не наброситься на нее. Нет, не страсть им двигала, но лишь желание придушить гадюку вместе с ее гадом. Он зловеще ухмыльнулся ей в лицо.

– Другой сволоты не сыскать!

Выпившая Нюрка сарказма в его словах не узрела. Отрываясь от него, она широко перекрестилась, вылила в рот содержимое его стакана и с горечью в голосе сказала:

– Хороший был человек, дед Санька! Упокой, Господи, душу его! А ты уж не забудь про своё обещаище подмогнуть, ежели шта...

Взгляд Олега в этот момент упал на ее «неутешного» супруга. Степаныч, отойдя подальше от шумного застолья, что-то с жаром объяснял местному председателю сельсовета. Сначала тот, отрицательно мотая головой, все порывался вернуться к столу, но потом согласно закивал. Наконец они ударили по рукам, точно совершили какую-то сделку, и оба вернулись назад. «Сторговались, суки!» Олег смачно сплюнул под стол. Оглянувшись на свой дом, видневшийся за дорогой, он, возможно, впервые в жизни пожалел, что не оставит после себя наследников. Нехорошее чувство охватило его грудь. «Вот и я, придет время, сгину, как дед Санька, и какая-то чужая сущность будет топтать мой двор, ходить по моему дому и рубить капусту на засол...»

Два «красных петуха» почти одновременно взмылись среди ночи к небу, ярко озарив округу кровавым багрянцем. Первым загорелся дом деда Саньки, а через минуту две бутылки «коктейля Молотова» полетели в дом Митрофана Сергеева. Кто-то страшным замогильным голосом успел предупредить хозяев, чтобы покидали горящий дом, занявшийся огненным смерчем...



После пожара, взбудоражившего все село, прошло довольно много времени. Было раннее утро. Олег едва успел подсыпать птице корм, когда во двор неожиданно заявился майор Усачев. Поспрашивав о том о сем, участковый, как бы между прочим, поинтересовался, нет ли у него бензина заправить свой старенький «жигуль»? При этом глаз у майора как-то странно блеснул, точно он что-то скрывал.

– Никак с обыском ко мне пожаловал, Михалыч? – догадался Олег. – Мне бензин без надобности. У меня даже мотоциклета отродясь не было, – сказал он, предоставляя в полное распоряжение майора свой дом и двор.

Долго, очень долго выискивал Усачев улики, но Олег был уверен, что никто и никогда не найдет маленькую пустую канистру из-под бензина, с незапамятных времен стоявшую у него в сарае и, как видно, ожидавшую своего часа. Осторожный хозяин уж давно зарыл ее в лесу.

Наконец участковый подошел и положил перед ним две пустые бутылки из-под минеральной воды «Боржоми».

– Осколки точно таких же бутылок были найдены следами на месте пожаров в обоих дворах, – спокойным, несколько усталым голосом сказал Усачев, пронзая Олега острым, как копьё, взглядом. – Что характерно: минералку из Грузии в наши края не завозили аж со времен советов!

– Думаешь, я один храню память о тех временах? – пошутил Олег, понимая, к чему тот клонит.

– Не поверишь, один! Я проверял: ни в одном дворе не найти больше таких склянок. Их даже в пунктах приема стеклотары давно не принимают, а ты хранишь. Интересно получается!

Сознавая, что пойман с поличным, Олег, привычно играя, решил продемонстрировать храбрость Робин Гуда. Деваться ему все равно было уже некуда.

– Интересно медведь ходит: изогнется, задом водит! Думаешь посадить меня, как деда Саньку?



Может, уже нашел покупателя на мои скромные хомы? – В следующую секунду он молниеносно бросился к бутылкам и разбил их, ударив одну о другую, а осколки тут же втоптал в землю. – Все, нету твоих улик!

– Глупо! – Участковый, с ухмылкой наблюдавший за его действиями, вынул из земли донышко одной из бутылок и обернул куском ткани, найденной там же, в сарае. Это была старая куртка, рукав которой Олег использовал для «коктейля». – Очень глупо, – повторил Усачев. – На бутылках имеется особая маркировка. Экспертиза сразу докажет, что они из одной партии. Ветошь, которой поджигатель обмотал горлышко бутылки, до конца не сгорела. В ней сохранились волокна тугоплавкого материала. Думаю, они совпадут с этой тряпкой.

Окончательно уличенный в содеянном, Олег сник, понимая, что участь его решена. Майор внимательно разглядывал его лицо, затем огляделся по сторонам и, протягивая свои находки, сказал:

– А все-таки хорошо, что кто-то успел сообщить Сергеевым о пожаре! Думаю, ты знаешь, кто это. Смерть... она ведь людей уже ничему не научит. Только жизнь дает нам право оценить свои поступки. Теперь у Митрофана Степаныча будет время подумать об этом. А дом он себе еще построит.

– Да, хорошо, – согласился с ним Олег, принимая из рук защитника правопорядка царственный подарок...

Следственная группа поджигателя так и не числила. Поговаривали, что у Сергеева было много недоброжелателей в селе. Пепелище свое супруги отстраивать не стали: испугались, что недоброжелатели вновь спялят. Забрав живность и то небольшое, что уцелело от скарба, они вскорости переехали на новое место жительства.

Всякий раз проходя мимо обугленных останков дома деда Саньки, Олег украдкой осенял себя крестом, шепча при этом: «Прости меня, отец, за ради внуков своих непутевых прости...»



Сумеречный проспект

Здесь вечер, словно деревце,
в чумной листве, в лучах.
Здесь фонари, как девочки
со свечками в руках.

В ночных рубашках девочки
в стальных лугах бредут,
где фонари, как ландыши,
на стеблях зацветут.

Где стебельки...
Где девочки...
Где деревце чумное...

Ах, город весь –
как ищут днём с огнём
потерянное что-то дорогое.



**СТАНИСЛАВ
ПОДОЛЬСКИЙ**

Поэзия

Кто мы, откуда мы и куда мы уходим

Я – капля в мире, часть
воды поющей.
Я из тумана вышел поутру,
и побежал, и, в их ручей
обрушась,
стеку в их море глыбы
бить и рушить,
и умирать на медленном
ветру,
и истончаться, таять
без предела,
как те, испит, разжеван,
не зарыт...
и после скверно
сделанного дела





блуждать впотьмах, в ничьих продрогших
скверах,
в киношках, в горжилфондовских пещерах,
в дюралевом тумане до зари...

Терновый лес

Встаешь не с той, с которой ляжешь.
Сквозь мирный храп, сквозь мелкий пот
тоска терновинками свяжет,
терновник зубы оплетёт...
Сквозь ночь густую прорастает
терновых ягод синий блеск.
Зверёнком – сквозь терновый лес –
ты рвёшься от собачьей стаи
несбыточного. От иной,
распятой в лунном – как святая –
на гальке чёрной. Бьет прибой
над ней, над той... А над тобой
чернозеленую стеной,
от игл и крови золотой,
всю ночь терновник расцветает...

Эстражник

Я тот певец, немодный, безголосый,
танцующий удачу напролёт...
Вот спрыгну в зал – и враз поймёт народ,
что нет певца – осталась только осыпь
танцующих колючих каблуков,
Ну, пара искренних случайных слов...
Ну, головы соломенная осень...
Ну, жест правдивый, точный взмах руки...
И каблуки – как сердце – каблуки
танцующие в зал меня выносят...
О, музыка, пускай на бис не просят!
О, музыка, прости мои грехи!
О, музыка, прости, не отпусти



за чистый звон, рассыпанный с горсти,
за то, что в немоте пришлось расти,
за то, что научился не грустить,
за то, что груб, за то, что тёмн стиль,
что вышел петь, хоть пенья не постиг,
за то, что вытанцовываю стих
среди голосистых евнухов твоих.

Сказали ему: кто же ты?..

Он сказал: я глас вопиющего в пустыне.

Ин., 1-23

Усталостью горит лицо.
Надежды нет, и мощи тоже...
Я не добит, живой еще,
но путь мой сбит и подытожен,

Вокруг обиженный народ:
бродяги, беженцы, чеченцы.
Здесь даже дельный патриот
бесправно выжат,
как при немцах.
Бездельно бродит молодежь,
чтоб зажиматься в закоулках.
С чем будущее к ним придет?
Во что им станет хлеба булка?

Бреду, измотан до крови, –
душа последним небом дышит –
охрипшим вестником Любви,
которого пустыня слышит.

Свои беды пройду с собой наедине.
Меж средних уровней и среднего достатка –
всю ненависть растрачу без остатка,
всю нежность раздарю нищете.



Не стану унывать по чистоте.
Дохлятиной не вздёрнусь над

тетрадкой,

как добрые и нежные, как те,
которых драли, у которых крали,
которых жгли безмозглые каналы
и «милые» которых оставляли,
подвыжав, в седине, как в декабре...
Их обижали – а они бежали
в себя, в Сибирь, в петлю, под пулю,

в бред..

Я беды выдержу. Ушедшим вслед
я выживу: со мной любимой нет.

Мартовский снег

Весна. Летят снежинки стаями –
воздушно-призрачный десант...
А в мире чувствуется таянье:
незримой птички свежий альт
нам обещает потепление,
грозы неслышанный разряд,
огонь сирени, вербы тление,
удач и неувязок град,
поэзии солнцестояние,
любви воздушные стога,
рождение и умирание...
Ну а пока – снега, снега...

Чеченский декабрь

Стихи? Какие там стихи?!.
Паленой синевы круженье
над зарослями белизны,
студеной синевы скольженье
над чистым полем, над горой



прозрачную, над мрачным садом,
за мороженым белизной...
Ни петь, ни говорить не надо,
ни пачкать строчками поля,
нетронутые и сорочки, –
достаточно грачиных клякс
и воробьиных многоточий...

Мир белизною обуян
и тишиной до глаз завьюжен.
Так что молчок! Я светом пьян!
Ни звать, ни убивать не нужно!
Пусть правит миром белизна,
бездонной синевы круженье
и солнечная глубина...
Война? Какая там война?!
Молчи! Пусть жжется тишина,
а не войны самосожженье...

Горная весна

Прозрачная зелень, цветов белизна,
и розовость, и фиолет.
Прозрачные в голову лезут слова
душистых весенних примет.

Так ясно и тихо, что внятен хлопок
раскрывшейся шишечки дальней.
И солнце ласкает пушистый висок
убитого на перевале.

Время остановилось.
Облако не плывет.
Вихрь, заломивши крылья,
свесился у ворот.
Люди задумчиво дремлют



...Он желтел среди белых тюльпанов
Утром майским в огромном дворе.
И закралась мне в сердце неожиданно
Грусть о детской далёкой поре.

Может быть, этот лист облетевший
Не напрасно снега пережил.
И несбывшейся чьей-то надежды
Он таинственно память хранил.

Отцветут и каштаны, и липы,
И исчезнет лист с лона земли...
Не с того ли рыдают со всхлипом
Каждый год над землёй журавли?

Я позвоню тебе без повода,
Чтоб вновь услышать голос твой.
И небосвод ночного города
Зальется светом надо мной.

Ты подойдешь к окну, наверное.
Ответишь тихо на звонок.
Напомнишь, что погода скверная,
И впереди – туман дорог.

А я скажу, чтоб не тревожился,
Пробьется солнышко из тьмы
Ведь столько доброго, хорошего –
Того, что знаем только мы!

...И вот звоню, звоню без повода.
Как пред причастием стою!
Чтобы сказать тебе, что снова я
В тебе
ищу
весну свою...



Картинки из детства

– Валелтаааааааа, я насол папейтуууу... – орал своему брату во всю силу лёгких мой сосед по лестничной клетке, круглоголовый пацан-трёхлетка Женька. Кричал он:

– Валерка, я нашёл копейку!

И ничего странного в том, что он так горячо кричал о том, что нашёл копеечку, не было, поскольку тогда и семилетний я, и все пацаны нашего двора были помешаны на игре в пристеночек, требующей этих самых копеечек. Игра была азартной, а потому – запретной. Раз запрещено, то играли, прячась за сараями в центре двора, на площадке, скрытой от глаз родителей, соседей и участкового милиционера.

Вообще, все наши детские игры появлялись как поветрие, словно краснуха какая-нибудь или корь. Вот только что безумствовала игра во дворе месяц-два, а сегодня уже и напарников не найдёшь. Так было, когда играли в городки, в «клёк» или в «попа».

«Пристеночек» появился у нас недавно. И не то чтобы кто-то пришёл посторонний и посвятил в секреты этой игры. Нет. Жил в соседнем от нас доме



**СЕРГЕЙ
СКРИПАЛЬ**

Проза





дядя Петя. Мужик безногий. Ездил на деревянной тачке, с отчаянно гремящими подшипниками вместо колёс, возил на плече специально сделанный им же маленький станок – круг с ременной ручной передачей для заточки ножей, ножниц, топоров и прочего режущего инструмента. Катался дядя Петя лихо, вносился в какой-нибудь двор, резко притормаживал деревянными «утюжками», и от асфальта летели искры, высекаемые подшипниками. Затем снимал с плеча точило, гулким басом кричал: «Ножи, топоры тооооочииииим...» В обязательном порядке к нему сначала сбегалась детвора, поглазеть на товары дяди Пети. Он не только точил инструменты, но и потихоньку приторговывал самодельными игрушками, так, за пяточок отдавал. Самой желаемой игрушкой был шарик, туго набитый тряпьем и обмотанный яркой цветной фольгой. К шарик, размером с небольшую луковицу, привязывалась хитрым способом резинка – «венгерка». Надеваешь на палец кольцо на конце резинки и ходишь с независимым видом по улицам, то бросишь шарик к земле, то к стене, то к пацану какому-нибудь, а тот, дурак, вроде и рад схватить блестящий шарик, ага, сейчас, шарик-то уже раз – и в твою ладошку опять впечатался.

Были у дяди Пети и простые свистульки в виде фигурок разных птиц, и такие, что прежде, чем свистеть, нужно воды налить в специальный резервуарчик, тогда звук получался не такой пронзительный, но забавный, булькающий.

Помимо этих безделушек, продавал дядя Петя и самодельные леденцы, петушки на палочке. Строго говоря, там не только петушки были, а и рыбки, и белочки, и зайчики. Но почему-то такое доморощенное лакомство называлось именно «петушок на палочке». Только продавалось и покупалось яство очень плохо, поскольку стоило, подумать страшно, пятнадцать копеек за штуку.



Следом за детворой собирались женщины, приносили для заточки инструменты. Дядя Петя особым образом одной рукой вертел круг, другой – ловко точил ножи, осыпая народ гроздьями искр, а малышня теребила мамок за передники и подолы, заглядывала в глаза, умоляла купить что-то. Матери вздыхали и, рассчитываясь за заточку, – гривенник за каждый наточенный нож, сверху давали то один, то пару или тройку пятаков, и счастливый обладатель петушка принимался блаженно причмокивать или уносился со свистулькой во рту.

Мальчишки нашего двора уважали дядю Петю. К нему можно было прийти с любым вопросом. Как самокат починить или, к примеру, как ловчее закрепить резинку на самостреле. Дядя Петя, казалось, всё умел и знал. Пацаны постарше, украдкой покуривая, сидели на лавочке рядом с дядей Петей, серьёзно обсуждая двигатель новой, недавно появившейся «инвалидки» дяди Степана из нашего подъезда, а дядя Петя внимательно выслушивал доводы пацанов, кивал и неторопливо что-то рассказывал из своей фронтальной жизни.

И дядя Петя, и дядя Степан, хозяин «инвалидки», были фронтовиками. Только вот дяде Пете не повезло, потерял обе ноги, а дядя Степан пришёл без одной. В отличие от дяди Пети, дядя Степан работал на какой-то большой должности в тресте металлургического комбината. Они дружили, и каждый вечер, в тёплое время года дядя Стёпа, возвращаясь с работы, подходил к дяде Пете, угощал его «Беломором», сидел полчаса. О чём они беседовали, нам не дано было узнать, поскольку дядя Петя нетерпеливо отгонял нас. Только один раз услышали, как дядя Петя крикнул вслед уходящему в раздражении дяде Степану:

– Товарищ капитан, так ведь помощи я ни у кого не прошу, ни у тебя, ни у тех... – он гневно мотнул головой куда-то вверх.



Нам было интересно, почему у дяди Степана есть машина – «инвалидка», хоть у него только одной ноги нет, а дядя Петя без обеих ног, и машины у него нет. На наши вопросы дядя Петя улыбался и отвечал, а что, мол, машина эта? У меня тоже тачанка, все четыре колеса, и хлопот нет с ней, знай, солидолом подшипники смазывай, ни бензина, ни масла не ест, подмигивал и заговаривал о чём-нибудь другом, очень интересном и важном для нас. Ещё отличало друзей то, что дядя Петя всегда, в любое время года был одет в старую, выцветшую гимнастёрку, залатанную неумелыми руками, но всегда чистую. Зимой он напяливал армейский ватник или коротко подрезанную шинель и старую порыжевшую военную же шапку с побитым молю сукном на макушке. Только 9 мая дядя Петя цеплял на всё ту же гимнастёрку свои награды, не густые, но очень значительные. И медаль за «Отвагу» была, и несколько медалей за освобождение ряда городов, и два ордена «Красной звезды» сурово перемигивались между собой, и даже «Красное Знамя» с чуть надколотым лаком на кончике знамени украшало его грудь.

Дядя Степан ходил в рубашке с галстуком, в пиджаке, на котором был приколот широкий ряд орденов и медалей, прямо выставка расцветала на груди офицерского кителя. Видимо, блеск золота офицерских погон не подпускал нас, мальчишек, поближе рассмотреть награды дяди Степана. Однако он относился к нам неплохо. Бывало, иногда вернётся с работы, заведёт свою «инвалидку», откроет брезентовый верх, запустит целую ораву ребятни и давай кататься по дворам, а то и на проспект Металлургов выкатывался. Впечатлений было!

Так вот, однажды весенним вечером и рассказал на свою беду дядя Петя нам, пацанам, про игру в присте-



ночек, показал один раз и всё. Этого одного раза хватило. Уловили правила игры моментально. Тут же были забыты лапта, футбол, волейбол и прочие забавы. Резались до полной темноты, когда уже и достоинство монетки-то оценить нельзя было. Те, кто мог похвастаться хоть чем-нибудь, хоть копеечкой, хоть двухкопеечной денежкой, принимались в игру. Сразу появились чемпионы и вечные должники. Честно говоря, я не знаю, кем бы стал в иерархии игроков, поскольку играл только два раза. В первый раз вступил в игру, имея наличный капитал в сумме трёх копеек. Проигрался. Осталась одна копейка. На следующий вечер с лихвой отыгрался, позванивая в кармане горстью медяков, вернулся домой, гордо так положил на обеденный стол что-то около двадцати копеек. Любуйтесь, дорогие мама и папа, сын ваш не просто так играет-гуляет до поздна, а вот, даже зарплату в дом принёс. Угу... Ох и влетело мне тогда. Не физически, нет, морально, но зато так, что до сих пор помню. И так мне стыдно тогда стало, что никогда в жизни я больше не играл в азартные игры, даже гораздо позже, когда появились у нас в стране первые автоматы-стрелялки, и то, разок попробовал, понял, что завожусь, и больше не подходил к ним. Ну их к чёрту!

А у дяди Пети вскоре начались неприятности. Приходили к нему отцы-матери, беседовал с ним и дядя Степан, ругались за науку, потом и участковый зашёл, пригрозил арестовать или оштрафовать. Так что дядя Петя очень просил нас прекратить игру, что, в общем-то, мы и сделали, только самые отчаянные игроки ушли подальше, в чужие дворы и за коулки в парке и за кинотеатром «Восток»...

Первого сентября родители отвели меня в первый класс. Ну, сами знаете, какой это был праздник для всех: и для мам с папами, и для первоклашек про-



мокашек. Надо сказать, что вся наша детсадовская группа попала в один первый «А» класс. Девчонки пришли в белых фартучках, с огромными бантами и букетами гладиолусов, хризантем и других горько-пряных осенних цветов. Мальчишки щеголяли в новых костюмных парах и белых рубашках, с обязательной короткой стрижкой и с обязательными чубчиками. Что делать, именно так должны были выглядеть первоклассники советской школы!

Я страшно гордился своими брюками и пиджаком серого цвета, с отутюженными стрелками, с настоящим, как у папы, брючным ремнём.

Закончилась линейка, разошлись по классам, прошёл первый в жизни Урок. Что-то мы рисовали в тетрадках, вроде бы домик с трубой, солнышком и словами «Миру – мир».

Всё, свободны! Теперь уроки только завтра. Но как-то маловато показалось праздника для души. Да и что дома делать? Родители на работе. Свобода! Вот она – настоящая свобода. Это тебе не в детсаде, где с утра до вечера находишься под надзором воспитателя, а потом с рук на руки родителям. Теперь всё не так. Теперь мы – взрослый народ.

И пошли мы шляться по дворам с моими друзьями Андрюхой, Серёгой и Мустафой. В общем, можно было подумать, что шпана шныряет по подъездам, если бы не приличный наш вид, в костюмах всё же, да и портфели придавали солидности. А портфели, кстати, у нас были замечательные, красного цвета, с блестящими металлическими уголками и замком. Только на кой ляд они нужны были нам в первый день, если в них болтались пара тетрадок и пенал. Просто положено так, раз уж школьник, будь добр, таскай портфель, теперь у тебя работа такая. Но нас они не тяготили, наоборот, придавали большей уверенности в том, что мы люди, достигшие в жизни чего-то.



Андрюха и Серёга, в отличие от нас с Мустафой, были мальчишками хулиганистыми, заводными, умеющими увлечь за собой. Андрей заскочил домой и приволок несколько заранее изготовленных дымовух. Знаете, помните, что это такое? Ооооо... Это занятная штука! Бралась проявленная фотоплёнка, отрезалось от неё сантиметров пять, туго скручивалась в трубочку. Теперь этот рулончик нужно было так же туго завернуть в прочную фольгу, скрутить на концах, чтобы получились остренькие носики. Осталось только уложить снарядик на кирпич или тротуарный бордюр и к нижнему концу поднести спичку. Плёнка раскалялась внутри фольги, потом вспыхивала и мгновенно, как порох, сгорала, от реактивных газов ракета летела несколько десятков метров, падала и, отчаянно вращаясь на месте, выбрасывала из своего тонкого тельца огромные клубы вонючего белого дыма. Правда же, восторг?! Андрей с Серёгой добились в этом деле высочайших вершин, вполне прицельно устанавливали дымовуху и на спор могли запулить даже в открытую форточку на втором этаже.

Развлекались мы тем, что обстреливали подъезды домов. Перед очередным выстрелом канонир Андрей орал во всю глотку: «В укрытие!»

Мы неслись в соседние с обстреливаемым подъезды, кто в какой. А как же, технику безопасности знали на отлично!

Я заскочил к окошку на площадке между первым и вторым этажами и, замирая от восторга, ждал начала дымового представления. Как только хлопнул снаряд, за моей спиной раздался злобный рык. Не помня себя от страха, я рванул на улицу, зацепился за что-то на крыльце и грохнулся на асфальт, вскочил и побежал, прихрамывая, прятаться в кусты. Только потом оглянулся назад. Да, из подъезда вышла огромная овчарка, ведомая за поводок



хозяином. Мужик погрозил нам кулаком и удалился со двора. Мы же стали считать потери.

Андрюха ожёг руку, слишком уж серьёзный заряд оказался в последней ракете. Серёга испачкал белую рубашку, потому что находил отработанные снаряды, ждал, пока остынут, раскручивал обожжённую фольгу и высыпал пепел на ладонь, мял его пальцами, пытаясь определить, всё ли сгорело, и, если не всё, то почему. Может быть, не совсем туго свёрнута дымовуха? Может быть, нужно плёнки побольше или поменьше? Как всякого экспериментатора, его мало волновали в эти упительные минуты внешние моменты. Подумаешь, руки вытер о штаны, пиджак или рубаху, не ходить же, в самом деле, с грязными ладонями!

Мои дела оказались более плачевными. Новенькие серые брюки зияли огромными дырами на ободранных коленях.

Вступление в новую, взрослую жизнь оказалось серьёзным испытанием.

Дома мне пришлось выдержать нагоняй, поход в «Детский мир», покупку новых штанов, но, увы, уже не таких серо-стальных, а обычного чёрного цвета. Колени посадили, подверглись санобработке с зелёной, да и всё.

Серёга наутро в школе похвастался привычным отцовским ремнём. Мустафа промолчал по своей азиатской привычке, только возмущённо или обиженно раздувал ноздри широкого приплюснутого носа. Андрюха же просто не обращал внимания на такие мелкие проблемы, как неприятности с отцом.

Отец его был фронтовиком, достаточно пожилым дядькой. Ходил он на деревянной ноге и шил на заказ замечательные фуражки для горожан, чем, собственно, семья Андрея и жила. Мать его трудилась в нашем бывшем детсаде то ли нянечкой, то ли уборщицей. Бывая в гостях у Андрея, я



всегда удивлялся и радовался встрече со знакомыми игрушками, точно такими же, с какими играли в группе.

Помнится, появилась в группе новая партия игрушек. Грузовые и легковые автомобильчики, кубики и прочие куклы-мишки. Всем мальчишкам понравился тяжёлый пластмассовый ГАЗ, с хорошо очерченными, «настоящими», деталями на кабине и кузове. По очереди играли в песочнице. Андрей не спешил занять очередь, хитро улыбался и говорил, мол, а чего, у меня скоро такая же будет. И правда, в очередной мой приход к нему мы уже играли точной копией грузовичка, перевозили по комнате груды староватых, но вполне пригодных для развлечения игрушек. А вот из группы ГАЗ запропастился куда-то. Наверное, на прогулке забыли, объяснила воспитательница.

Ну ладно, получил Андрей от отца очередную взбучку за наши дымовые шоу. Но, как оказалось, не только за это. К ним домой приходил Участковый! Требовал, чтобы Андрюха назвал всех подельников по артиллерийским упражнениям. Андрей никого не назвал. Участковый пригрозил, что в следующий раз непременно поставит его на учёт в детской комнате милиции, посидел с отцом на кухне, выпил стакан водки и ушёл, на ходу подёргав пацана за чубчик.

К середине сентября отец Андрея сшил для меня кепку из модного тогда диагоналя, серого, с тонкой чёрной полосочкой. Я был ужасно рад подарку, впрочем, через пару дней, когда ходили классом на спектакль в городской театр, я забыл фуражку в гардеробе. Ходил туда на следующий день, но напрасно. Так противно стало тогда, что мою новую кепку какой-то дурак на башку себе напялил! С тех пор терпеть не могу головные уборы, только зимой ношу лёгкую фуражку.



Итак, какой же вывод я сделал для себя после первосентябрьского приключения? Нет, ни в коем случае ни не участвовать в проделках и проказах. Какой же я был бы пацан. Понял одно, что событие нужно сначала оценить, а потом принимать решение. Чем быстрее оценишь, тем быстрее отреагируешь. Ведь оглянись я тогда, посмотри, ну, увидел бы собаку, так и хозяина с поводком углядел же. Спокойно бы пропустил их и также спокойно вышел из подъезда. И никаких неприятностей бы не было, ни испорченных штанов, ни разбитых коленей. Ничего-го! Правда, оставался бы риск встречи с участковым, если бы ошалевшие жильцы обстрелянных домов запомнили меня.

В начале семидесятых мои родители решили поменять Казахстанские степи на Ставропольские. Переехали мы в Невинномысск, небольшой промышленный город, чем-то похожий на мой родной. Первое время, пока не было своей квартиры, жили в доме маминой сестры. Дом большой кирпичный, с печным отоплением, стоял почти на самом берегу Кубани. Густой виноградник укрывал двор, вишни, яблони, сливы, груши тоже давали немало тени, и было удивительно видеть, что фрукты-ягоды росли прямо под рукой, а не в корзинах рыночных продавцов, к чему я так привык с детства. Первое время было удивительно и странно видеть у автобусной остановки огромный искривлённый ствол старого абрикоса, ягоды, валявшиеся под ним, мятые, раздавленные и никому не нужные. Чуть позже, когда немного освоился с новым местом жительства, мне не составляло труда залезть на тот же абрикос, набрать полную пазуху ароматных плодов. По всему городу росли ягодные деревья, всегда можно было перекусить яблоком или вишней. Это никого не



удивляло, было привычным, а вскоре и мне надое-
ло, поскольку такие же деревья были либо во дво-
ре нашего дома, либо росли рядом с ним. Этот дом
на самом берегу реки был куплен семьёй маминой
сестры и пустым дожидался своих хозяев, работаю-
щих на приисках на далёкой Колыме.

Кубань – река с характером, капризная, свое-
нравная, течёт, раскинувшись по широкому руслу,
звенит на перекатах. Её можно почти во всех ме-
стах перейти в брод, лишь в основном своём ложе
она глубокая, тут – только вплавь. После дождей
в горах Кубань вздувается, становится могучей и
стремительной, ничто её сдержать не сможет. Те-
перь бойся её! А бывает, что спокойно, туго, вели-
чаво, маслянисто течёт, ни звона струй о камни, ни
шума на поворотах, ни всплеска о коряги-топляки.
Появляется в ней какое-то томление, что ли. Имен-
но в такой осенний период папа перебирался на
одолженной у соседей лодке на другой берег, чтобы
заготовить на зиму дров на растопку. Как же нам с
младшим братишкой хотелось отправиться с отцом
в дальнее путешествие. Он бы и не прочь нас взять,
но мама... Эх, мама! Никак не хотела понять, что
мы страстно рвались посидеть на вёслах, помахать
топором, вернуться домой с охапками хвороста и
чурок, нарубленных и собранных своими руками.
Ничего не могло убедить маму. Вот и отправлялся
папа один. Если бы мама знала тогда, сколько вре-
мени я проводил на берегу реки, как и куда плавал
по Кубани, пока родители были на работе. Да это
бы путешествие за дровами сочла просто мультяш-
ным приключением. Но обо всём надо было мол-
чать, иначе получил бы полудневное заточение,
сразу после школы отправлялся бы либо к бабуш-
ке, либо к тёте, чтобы быть под присмотром. Но всё
же на мне тоже были кое-какие обязанности. При-
носил несколько вёдер питьевой воды из колонки,



расположенной не очень близко от дома. Кажется, поливал какие-то грядки, что-то ещё необременительное делал. Времени оставалось много и на уроки, которые я успевал «сделать» минут за пятнадцать-двадцать, и на игры с пацанами у реки.

Каждое лето в гости к нам съезжались родственники – мамыны сёстры с семьями. Собирались солидные компании. Приезжали из Молдавии, из Болгарии, из Ростова-на-Дону, из Свердловска, из Казахстана. Все с мужьями и детьми. Человек по двадцать собиралось. И ничего удивительного в этом не было. У мамы было девять сестёр и брат, это те, кто к тому времени живыми были, а похоронено было два брата и ещё одна сестра. Так что летом было весело у нас в доме, по крайней мере недели две шум, гам и суматоха были спутниками нашего дома. Совсем уж мелкие мои сестрёнки и братишки во главе с братом моим родным Валентином носились по огороду, обрывая с кустов смородину, малину, на ходу жуя свежесорванные огурцы и помидоры, а то и до яблок пытались дотянуться. Тут уж помогали им мы, взрослые, если, конечно, не были заняты своими серьёзными делами и разговорами. Ходили к реке, пытались ловить рыбу, жгли костры, пекли картошку.

Ни родители нам, ни мы им не доставляли хлопот. Только изредка нас отправляли за водой к колонке либо откомандировывали в магазин за хлебом-колбасой. Это было не сложно и ни капельки не трудно. Всей гурьбой вваливались в сельпо, небольшой кирпичный магазинчик, брали необходимый товар, на мелочную сдачу умудрялись купить немного ирисок «Кис-кис» или твердокаменных леденцов «Дюшес», а то и пару бутылок лимонада «Буратино». Шли домой, хрустели леденцами или молча пытались оторвать от зубов ириски, намертво склеивающие наши челюсти, по очереди тянулись губами к



липкому горлышку лимонадной бутылки. Затем полоскали у колонки опорожненную тару, припрятавали её, чтобы в следующий раз сдать и получить за каждую бутылочку двенадцать копеек. Ого-го, вот они, деньжищи-то!

Вечерами устраивались застолья прямо на улице, во дворе, под виноградником. Не помню уже, какой именно виноград рос у нас тогда во дворе, но было его много, листва плотной крышей закрывала от солнца, крупные гроздья синели и краснели в листьях. Протяни руку – и вот она сладкая терпкость виноградного сока. Но к тому времени уже поднадоели фрукты и ягоды, поэтому виноград вызревал полностью и гроздья его висели сиротливо почти до самых холодов.

Однажды взрослые, уставшие от посиделок, вышли к реке. Муж одной из маминых сестёр, невысокий дядька, коренастый такой, изрядно подпивший, всё подначивал отца, брал, как говорится, на слабо. Мол, ни за что тебе, Вовка, не переплыть Кубань туда и обратно.

Папа мой, человек не конфликтный, сначала отмахивался, переводил в шутку. Другие же дядья, прислушавшись, тоже начали подшучивать и подтрунивать отца. Уже и женщины стали утихомиривать мужиков. Я же страдал за папу, понимал, что его пытаются выставить на посмешище, готов был выкрикнуть что-то обидное дядькам, даже кинуться на них с кулаками.

Как раз в это время Кубань была полноводной и широкой. Папа, побледневший от гнева, стянул с себя рубаху и брюки, попробовал босой ногой воду. На окрик мамы: «Вова!» – только досадливо передёрнул плечами и вошёл в реку до колен.

В заходящем солнце чётко выделась его фигура, с широкими плечами, мускулистыми руками и ногами.



Папа оттолкнулся и прыгнул в воду, погрёб сильными рывками наискось течению. На берегу замолчали, наблюдая за отцом, добравшимся уже до середины реки. Я мазнул глазами по лицам дядьёв и ведь уловил в них чувство зависти, подумал ещё тогда, ведь никто из них не смог бы вот так кинуться в воду. Отца стало сносить течением от противоположного берега, река пыталась заставить его плыть по своим правилам, но папа погрёб сильнее, поборол норы Кубани и вышел на сушу почти напротив нас, зрителей, махнул рукой и исчез в прибрежном кустарнике. Вскоре его резкий хулиганский свист заставил всех повернуть головы гораздо выше по течению. Папа прыгнул с высокого обрыва вниз головой, проплыл под водой до середины реки и очень скоро вышел из воды прямо возле нас.

Все аплодировали. Мужчины жали ему руки, хлопали по мокрым плечам и спине. Только дядя, который подначил отца, покуривал в стороне и что-то бурчал под нос.

Боже мой, как же я гордился папой! Ведь я – его сын. А значит, такой же храбрый и сильный. Братья постарше поняли мои чувства, уважительно цокали и кивали в такт моим мыслям. И я знал, твёрдо знал – они понимают, что и я способен на такой поступок.

Этой же осенью, где-то в конце сентября, смылись мы с пацанами с последних уроков и отправились на Кубань. Позагорали, напекли картошки. Решили искупаться. Кубань уже была узкой, злой, сварливо шипящей и гремящей. Мальчишки плескались у самого берега, а меня вдруг дёрнуло, дай-ка, переплыву. Я кинулся в воду, погрёб совсем как папа, но быстро почувствовал, что силёнок не хватает. Кубань приняла меня и понесла, словно падший лист. Однако потихоньку выгрёбал к берегу,



не к противоположному, конечно, нет, к тому же, откуда сунулся в воду. Ведь далеко я не уплыл, почти сразу попал в водоворот. Будто чьи-то мягкие, но настойчивые руки тянули меня ко дну. Хоть смейтесь, хоть нет, перед глазами пролетела вся моя куцая жизнь, сколько её там было у пятиклассника. Почему-то ярким пятном всплыло воспоминание, как далёкой зимой, ещё там, в Казахстане, соседский мальчишка Андрей, старше меня на пару лет, что-то не поделил со мной, и мы задрались. Вернее, он меня бил. На его беду из-за угла дома появилась моя мама, кинулась на Андрея, разнимать нас. Но мы катались клубком по снегу, затем размахнулась сумкой и ударила его ею прямо в лоб. Андрей охнул и отпустил меня. Сидел в сугробе, вращал глазами и крутил головой. Мама поднялась на этаж, позвонила в дверь соседа, когда она открылась, мама спокойно сказала матери Андрея:

– Роза, я, кажется, убила твоего сына!

На что получила ответ:

– Значит, заслужил!

Конечно, ничего такого с Андрюхой не случилось, просто шишка на лбу выросла. Всё же приложила мама его сумкой, где была пустая трёхлитровая банка.

Я не кричал и не звал на помощь, только выныривал на поверхность глотнуть воздуха, боролся с рекой. В один из вздохов увидел на берегу пацанов с широко разинутыми ртами, бегущих по самому краю Кубани. Вот тогда я понял – тону. Дёрнулся из последних сил из водоворота, поднырнул и толкнулся ногами, потом ещё, ещё и, наконец, коснулся донной гальки. Вот тут уже присел поглубже и по-настоящему оттолкнулся. Тело взметнулось из воды, воздух больно ворвался в лёгкие, ожёг их свежестью, жизнью, и я плюхнулся на мелководье.

Никогда не рассказывал об этом родителям. Тогда – чтобы не получить взбучку, теперь – а зачем? Впрочем, папа никогда не узнает о том моём приключении, не стало его уже давно. Мама? Прочтёт, конечно же. Ну и что? Было и былём поросло!



Дед Сашка

– Вина хорошего привёз, писатель?

От неожиданности я даже вздрогнул. Передо мной стоял дед Сашка и, хитро прищурившись, ухмылялся в один ус. Дед! Если бы ты только знал, как я рад видеть тебя, высокого, худого, немного сутулого, похожего на чуть привядший подберёзовик, дорогого мне человека! Мы обнялись. Нашу взаимную радость неожиданно прервал мягкий и приятный голос жены деда Сашки Ольги Петровны:

– Какое вино?! Молочка лучше попейте парного. Только что от коровки.

И дед, этот кладёзь деревенской философии, выдал первый после нашей встречи афоризм: – Какое молоко, старая?! Человек за вдохновением приехал. А от молока, кроме здоровья, ничего не придёт. Вроде бы и забраковал, но и не запретил. На душе сразу потеплело. Дед шутит, корова подоена, даже вино требуется – живут дорогие мои старики! Сюда я езжу уже лет десять. Познакомился с дедом Сашкой случайно на рыбалке, а потом



**ВАЛЕРИЙ
АГАРКОВ**

Проза





и с его женой Ольгой Петровной Пашиной. Дед не любил по имени отчеству – Александр Иванович. Ольга Петровна наоборот. Всегда была подчеркнута вежлива и на «Вы». Эта невысокая женщина с добрыми и всегда немного грустными глазами своей какой-то внутренней интеллигентностью вызывала у меня трепет и уважение, как первая учительница.

Молока мы всё-таки выпили. Машину загнали во двор. Там в глубине стояла времянка. В ней, когда приезжал сам или с друзьями, я и ночевал. Сделали ремонт, отопление установили. В запасе буржуйку держали. Дед рад был этому больше всех: «Как с бабкой поругаюсь – шмыг во времянку, и на замок. Такая благодать!»

Пока мы разгружали машину, Ольга Петровна, зная мою слабость к яичнице с помидорами, быстро поставила на открытый огонь печки-мазанки большую сковороду, и мы, не успев разгрузить и половину вещей, уже краем глаза и уха видели и слышали, как скворчит яичница. Стол под навесом быстро «оброс» хлебом, солью, малосольными огурчиками, салом с мясной прослойкой, свежими луком и чесноком, варёной курицей, вспотевшей от посыпанной на неё соли. И среди этой вкуснятины возвышалась покрытая инеем бутылочка самогона.

Дед толкнул меня в бок: «Видишь, как старая рада!» Я спохватился. А подарки! Кинулся к машине и торжественно вручил их этим милым старикам. Ольге Петровне – тёплый байковый халат и цветные «праздничные» резиновые сапоги, а деду – две удочки со всеми причиндалами. Я готов был проехать ещё тысячу километров, только бы видеть этих искренне радующихся стариков. Как всегда, был начат разговор о деньгах, но быстро



за бесполезностью закончился. Прижимая подарки к груди, Ольга Петровна пригласила нас откусать.

Запотевшая бутылочка так и просилась в руку. Дед Сашка взглянул на стол, потом на жену и попросил принести лестницу. Ольга Петровна вздрогнула и, пробежав глазами по столу, вскрикнула: «Рюмки!», – и метнулась в хату. На мой немой вопрос дед ответил философски: «С лестницы видней, чего на столе не хватает. Меня ещё отец учил, а отца – его отец. Пришли гости – хлеб, соль да рюмки на стол, а хозяйка пусть закуски готовит. И никто уже не скажет, что хозяин хлебом-солью не угощал».

Пока дед Сашка наслаждался своей философией, Ольга Петровна успела поставить рюмочки, а заодно дымящуюся молодую картошечку и селёдочку с луком и маслом. Я был голоден и от обилия деревенских закусок еле успевал глотать слюну. Самогон, настоящий на кедровых орешках, по меткому выражению деда, «шёл, как к себе домой». Каждую рюмку он сопровождал поговорками: «Между первой и второй должна быть ещё одна», «Первая колом, а вторая соколом», «Не блуда ради, здоровья для» и т. д. Старики в еде обходились малым, и я всегда привозил им из города, по словам деда, «дэликатесы». Они всегда с такой теплотой жалели о потраченных деньгах, что мне хотелось возить и возить им эти «дэликатесы». Один раз денег хотел дать, так они месяц на мои звонки не отвечали. Я знал, что у них всё хорошо (звонил соседям), но очень переживал. Потом собрал своих друзей и нагрянул к ним в гости. Отведя в сторону, дед назвал меня умницей и рассказал, как они с бабкой чуть было не развелись: «Он же от чистого сердца хотел, пилила меня старая.



А мне как шлея под хвост: мы не нищие какие-нибудь. Ты прости нас. Мы так боялись, что ты больше не приедешь. Ночами тайком друг от друга даже плакали. Понимаешь, своих детей у нас не было. Взяли мальчонку из детдома. Беспокойный был малец. Вырос. Мы ему всё рассказали. Он родных начал искать. Нашёл мать. Поехал на встречу к ней и погиб в автокатастрофе. Похоронили вместе с матерью. Там на родине и лежит. Ездим редко. Очень далеко. Сам видишь: годы здоровья не прибавляют. Такая вот история, – дед немного помолчал. – Думали, останемся без радости на старости лет... В церковь я не хожу. Сомневаюсь. Но Ольге Петровне не запрещаю. Она иногда там бывает. Свечи ставит. Службу отстоит. Больно, но вспоминаем его часто».

...Самогонка закончилась быстро. Зная, что я с пустыми руками не приезжаю, дед Сашка начал издалека. Расспросил про урожай винограда, с интересом в который раз выслушал краткий курс технологии производства вина. На удивление Ольга Петровна сама посоветовала нам немного выпить, но в беседке. Я принёс вино и виноград. Виноград был из магазина. Не время ему ещё у нас. Мы перешли в беседку. Разлили по бокалам. Лестница на этот раз не понадобилась. Ольга Петровна посидела с нами немного, а затем пошла хлопотать по хозяйству. Мы с дедом «смаковали» вино, закусывали виноградом и любовались закатом. Дом деда Сашки стоял на возвышенности, на изгибе реки, считай на полуострове. И закат здесь был удивительно хорош.

Долго сидели молча. И вдруг без всяких вступлений дед спросил: «Ты видел у моей старухи на руке цифровую татуировку?» Я ответил, что видел и давно хотел расспросить её об этом. Дед



очень серьёзно посмотрел на меня и попросил не делать этого: «Лучше я тебе всё расскажу. Ты пообещай, что напишешь об этом, но напечатаешь, уже когда нас не будет на белом свете». Я пообещал. Но когда узнал историю жизни и любви этих стариков, долго не мог взяться за перо и всё время откладывал. Дед, грустно глядя куда-то вдаль, начал свой рассказ:

«С Ольгой Петровной мы встретились на поселении. Тогда она была просто Оля. И я, и она прошли фашистские лагеря. А теперь зарабатывали прощение. Она в библиотеке работала, я – в шахте. А за что нас надо было прощать? За плен? Но мы в плен не сдавались. За то, что работали на врагов? А что, надо было умереть? Так подыхали миллионы. Мы выжили. И нас – на поселение.

Но ты имей в виду, после плена я воевал почти год. Тебе может эта история показаться невероятной, но, когда мы попали в окружение, наш командир выдал всем справки, что он приказывает сдать. После этого сам застрелился. Не знаю, зачем, но я распорол голенище сапога и вместе со справкой зашил свою медаль. В плен попал, будучи раненым и без сознания. Зашитое полгода носил в сапоге. И когда бежал из плена, особист (хороший был мужик, правильный) всё внёс в протокол и отправил меня на фронт. Я уже забывать стал. И награды новые были, и ранения. Но после войны вызвали меня «куда следует» – и на поселение.

Ты знаешь, какая обида была?! Руки хотел на себя наложить. Но тут она – Ольга Петровна. Светлый человек. Я случайно, от делать нечего зашёл в библиотеку. А потом чуть ли не каждый день бывал там. Всё не решался познакомиться. Однажды собрался с духом, нарвал букетик полевых цветов,



заложил в книгу и принёс сдавать. С тех пор мы не расставались никогда. Она меня спасла. Я это точно знаю. Много у нас с ней в жизни бывало всякого. Но плен научил главному – не предавать. И если меня спросить, прошёл бы я ещё раз лагеря, только бы с ней встретиться, клянусь, прошёл бы! И считал бы это за счастье...

Да, нас реабилитировали. Вернули все награды и звания. Мы всей своей жизнью доказали, что не были предателями. Мы за свою Родину кровь проливали. В лагерях гнили. А пришли к власти дети тех, кто нас судил, и предали всех и вся. Набили карманы нашей Родиной и живут припеваючи. И плевать они хотели на наши идеалы. Они быстро их заменили, а толпа пошла следом. Скажу тебе откровенно: мы с Ольгой Петровной уже не изменимся. Жаль, уходит наше поколение. Одна надежда – может, «афганцы» продолжают. А теперь и «чеченцы»».

Я сидел тихо, не перебивая. Дед Сашка немного помолчал и, успокоившись, продолжил рассказ неожиданным вопросом: «Ты что-либо знаешь о немецких женских лагерях?» Я не ожидал такого поворота разговора и немного смутился. «Так вот слушай. Точнее, почитай». Дед сходил к себе в мастерскую и принёс газетный свёрток. Деда я не узнал. Всегда весёлый и жизнерадостный он стоял передо мной с грустными глазами, руки его немного дрожали, лицо прорезали глубокие морщины: «Здесь воспоминания Ольги Петровны о концлагерях. Правда, записи сильно обгорели. Это она их хотела сжечь в печи. Но я успел кое-что спасти. Честно говоря, я их от ревности спас. Думал, о любовниках написано. Но когда разобрался, стало стыдно. Спрятал в мастерской в потайном месте и украдкой пытался их читать. Тебе



признаюсь честно: тех немцев я ненавижу. Такие зверства нормальному человеку в голову не могли прийти. Ты почитай, что они делали с нашими женщинами в лагерях. Почитай! Только не сейчас, а то проспишь всю рыбалку».

Мы выпили ещё немного вина, и дед ушёл к себе в хату. Я долго ворочался. Потом не выдержал, зажёл рыбачий фонарь и взял свёрток. Он был небольшим, крест-накрест перевязан шпагатом и запаян в целлофан. Мелькнула мысль, что, как и всё в жизни, дед Сашка делал основательно. Развернув газету, обнаружил обгоревшую общую тетрадь. На обложке прочёл надпись, от которой стало немного не по себе: «Неродившимся моим детям посвящаю. Простите меня». С некоторым волнением я перевернул следующую страницу.

«...В плен мы попали вчетвером. Медсанбат окружили внезапно, как и всю деревню. Немцы шли цепью и расстреливали всех подряд – мирных граждан, военных, раненых и даже детей. Забежав в один из сараев, мы переоделись в гражданскую одежду, которая у женщин-военных всегда была в запасе, и кинулись в лес. К утру вышли на дорогу, по которой шли беженцы, и затерялись в толпе. Километра через два нас остановили немецкие танки. Всем было приказано вернуться домой. Мы держались вместе, это нас и погубило. При очередной проверке нас арестовали. Отпираться было бесполезно. Мы по неопытности сохранили свои документы, и при обыске их нашли. Двоих расстреляли сразу. Оказалось, они были похожи на евреек. Нас отвезли в комендатуру. Там меня первый раз избили. Били «наши люди», полицаи. Били жестоко и со знанием дела. Очнулась в сарае и долго плакала. Но не от боли, а от обиды и злости, от бессилия и невозможности что-либо изменить.



На второй день всех молодых женщин вывели на площадь и, как скотину перед покупкой, стали осматривать люди в белых халатах. Отбирали по каким-то только им известным признакам. После отправили в большой барак. Там нас было человек пятьдесят. Заставили всех помыться, привести себя в порядок и накормили. Как потом оказалось, это был мой самый «счастливый» лагерный день. Дальнейшую свою жизнь в плену иначе как ад я назвать не могу. Вначале ещё была надежда на человеческое отношение, на освобождение Красной Армией, на побег... Но постепенно всё превратилось в сплошной ад. И он длился один год, восемь месяцев и десять дней.

Господи! Как ты мог допустить перерождение этих людей в зверей?! Да и звери такими не бывают. Не могу их оскорблять. Какую муку они придумали для меня, я не знала. Я билась в истерике, страшно сопротивлялась, но, как и многих, меня связали и стерилизовали. Прошло много лет. Но до сих пор перед моими глазами стоит эта самодовольная рожа немецкого врача, который со злой ухмылкой успокаивал таких же, как я, женщин, обещая дать направления в публичные дома...»

Я долго сидел молча. На душе было беспокойно. Я не мог никак сосредоточиться и просто механически перелистывал обгоревшие страницы. Это невозможно понять умом, принять сердцем и тем более простить. Даже в душе. Мне стала понятной надпись на обложке. Всю свою жизнь Ольга Петровна носила в себе эту боль. И самое удивительное, она винила себя за это. За то, что не смогла продлить свой род, не билась в муках, давая новую жизнь, не испытала прикосновения к своей груди мягких и тёплых губ младенца. Это



всё у неё отняли нелюди. И она за чужую вину просит у неродившихся своих детей прощение. В этом великом и святом – наша русская женщина.

На рыбалку мы в этот день так и не попали. Видя моё состояние и полное отсутствие желания развлекаться, эти милые старики предоставили мне возможность побыть одному. К обеду, сославшись на головную боль, я уехал домой. Дед догадывался, почему, а Ольга Петровна очень переживала. Уже дома я продолжил разбирать записи. Тетрадь действительно сильно обгорела, и только где-то в середине можно было понять ход событий. Они меня удивили совсем с неожиданной стороны.

«...Красная Армия наступала. Наш лагерь перебросили километров за 200-250 в лес. Оказалось, что это был бывший пионерский лагерь. Немцы обнесли его колючей проволокой в три ряда, поставили вышки и превратили из пионерского в концентрационный.

Лагерь был большой. Построек не перечесть. Обживая свои корпуса-бараки, мы в одном из них нашли тайник. Видно, воспитатели и вожаки сделали его, чтобы пионерские атрибуты не уничтожили немцы. Там были знамёна, плакаты, транспаранты и т. д. Скажу честно, нас было человек десять, но не нашлось ни одного, кто пожелал бы использовать этот материал на одежду, хотя многие в ней нуждались. Находясь в нечеловеческих условиях, мы всё же оставались людьми, со своими принципами и идеалами. И эти принципы нам вскоре пришлось проявить.

Вспоминая все ужасы плена, диких мытарств и пыток по истечении стольких лет, я горжусь своими подругами по несчастью. Безжалостно издевались над пленными мужчинами, но во сто крат



немцы зверели, когда к ним попадали женщины-военные. Их раздевали догола, резали лицо, руки, груди. Насиловали и даже сажали на кол. Охранники нередко устраивали для себя публичные дома. Но сломить нас они так и не смогли. Лагерь, в котором мы находились, состоял в основном из русских непокорных женщин. Нас свозили сюда со всей восточной зоны. И жилось нам ох как несладко.

Была середина весны 1944-го года. Немцы заставили нас чуть ли не «вылизать» лагерь. Всё было побелено, покрашено и отремонтировано. Прошёл слух: немцы нас готовят для съёмки своего пропагандистского фильма. В назначенный день мы наотрез отказались выходить на плац. Около часа нас избивали и силой вытащили на улицу. Комендант орал, чтобы мы строились в колонны для марша и пения. Видя, что всё это бесполезно, стал обещать еду и баню (второе для женщин было важнее). Но никто не соглашался. Были пленные из других стран, готовые маршировать, но немцам нужны были русские. А мы решили: будем стоять насмерть. Было холодно, дул ветер, и мы, одетые в тряпье, поневоле сбивались в кучу.

Среди нас была женщина-врач. Мы уважали и слушали её. Врач в лагере – это всё. Тем более в женском. Авторитет её был огромен, и мы, не колеблясь, согласились с тем, что предложила она. Обращаясь к коменданту, мы пообещали, что пройдем маршем, но нам нужен хотя бы час на то, чтобы согреться и обсушиться. Видно, боясь получить разнос от начальства, комендант дал согласие и даже выдал нам сносную верхнюю одежду. Около часа мы обсуждали наши действия и делали вид, что готовимся. На плац нас вышло около ста человек. Построились. Немецкие операторы



настроили аппаратуру, включили дополнительный свет. Охранники и полицаи самодовольно улыбались – их взяла! Подали команду «шагом марш!». Началась съёмка. По команде «Запевай!» мы, стараясь держать строй и чеканить шаг, дружно запели: «Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой с фашистской силой тёмною, с проклятою ордой...» В середине куплета над всей колонной взмыли красные флаги, растянулись транспаранты. Несколько минут немцы были в растерянности: киношники снимали, а мы маршировали и что было сил пели: «Не смеют крылья чёрные над Родиной летать!..»

В эту песню, в этот марш мы вложили что-то такое, от чего наши измученные тела вдруг воспрянули, и мне показалось, что от нас исходит свет. В нас будто вошла новая жизнь. И я знаю, что многим, в том числе и мне, этот марш помог выжить в лагерном аду. Прошло минут пять, прежде чем разъярённые охранники и полицаи палками и прикладами загнали нас в барак. Мы ждали самого страшного, но это был уже 44-й год, и немцы с пленными обходились не так, как в начале войны. Но не обошлось без избиений, голода и карцера. Самых активных, в том числе и женщину-врача, арестовали. Их долго и жестоко мучили. Потом привязали к вкопанным крестам и расстреляли. Для нашего устрашения их долго не снимали с распятий. Спустя много лет, участвуя в шествиях со знамёнами, я уже никогда не испытывала этого высокого чувства демонстрации несгибаемого духа русского народа. Там был враг. А здесь?..»

Я вновь и вновь перелистывал тетрадь и думал: «Как бы это выглядело сейчас? Нашлись бы такие люди? Смогли бы они проявить такой массовый героизм? Есть ли у них этот дух, вера? Что для



них значит слово «Родина»? Конечно, есть. Жаль, что мало. Не хватит на такую страну. Меняются только вывески. Полиция... Господа... Парламент... Россия с её народом где? Раньше награждаемых актёрами да режиссёрами «разбавляли», а теперь – рабочими да крестьянами. Быть патриотом – это, прежде всего, любить свою Родину, а Родина – это народ. А народ – это тот, кто кормит, а затем уже, кто развлекает. Хотелось бы оказаться правым».

Моя работа с записями жены деда Сашки закончилась так же неожиданно, как и началась. Я очень об этом сожалел, но это решил не я.

В один из моих приездов Ольга Петровна отвела меня в сторону и очень серьёзно попросила вернуть ей тетрадь. Видно, дед Сашка проговорился. Не мог он обманывать свою жену. И, как потом признался, «душа болела и разрывалась на части». Тетрадь я вернул. И долгое время чувствовал за собой вину. Но меня никогда не покидало чувство гордости за этих стариков. Милых и добрых, но в то же время твёрдых и непоколебимых в вере в свои идеалы. Пронёсших через всю свою нелёгкую жизнь самое светлое человеческое чувство – любовь. Дед знал о тяжёлой судьбе жены, но оставался с нею до самых последних своих дней.

Дед Сашка умер неожиданно. Никакие болезни ему не докучали. Бывали мелкие, как и у всех. А так, чтобы серьёзно, – никогда. Он часто говорил, что, скорее всего, умрет от обострённого чувства справедливости. Так оно и вышло.

Один из немногих праздников, которые они отмечали с женой, был День Победы. Всегда вместе ходили на деревенский митинг, одевали ордена и медали, военную форму. Затем шли в Дом культуры, смотрели концерт, угощались кашей из полевой кухни и – домой, где накрывали стол, вы-



пивали по три стопки, включали старенький патефон и молча слушали песни военных лет. Слушали и современные, но о войне.

В тот день, 9 мая, Ольга Петровна приболела, и они решили побыть дома, но вторую часть праздника всё же провести традиционно. Как потом она рассказывала, за хлопотами не заметила отсутствия мужа. Спихватилась лишь тогда, когда услышала чей-то крик. Выбежав из хаты, увидела деда, сидящего на лавочке, и Дарью, соседку через два дома. Дед сидел белый, как мел, а перед ним на лавочке лежала салфетка. На ней – кусочек чёрного хлеба и засохшая котлета. Соседка всё время просила прощения и плакала.

Как потом выяснилось, Дарья (она работала уборщицей в Доме Культуры), убрав после традиционного праздничного застолья, собрала со стола часть оставшейся еды и унесла домой. Проходя мимо дома деда Сашки, из добрых побуждений окликнула его и предложила этот бутерброд. Всё это она сопровождала праздничным поздравлением от руководства и ветеранов села. Сердце деда такого не выдержало. Больницы в деревне нет. Ближайшая – за двадцать вёрст. Пока бегали за фельдшером, искали машину, время ушло. Да и перевозить деда уже было нельзя.

Причиной смерти оказался обширный инфаркт. Но, я думаю, прав был дед Сашка. Не инфаркт, а равнодушие и обострённое чувство справедливости у наших стариков. И чаще всего они умирают именно от этого. Неужели эти мелкие чиновники не могли найти несколько минут, чтобы поздравить их с Днём Победы, осведомиться о здоровье, поднять стопку? Старики надеялись, что про них не забудут, и ждали. А пришла уборщица и принесла объедки...



О смерти Александра Ивановича я узнал, будучи в Белоруссии. Попросил друзей, и они помогли Ольге Петровне с похоронами. В село я смог приехать только недели через две. Сразу посетил кладбище. Могилу деда найти было нетрудно. Около неё стояла одинокая фигура Ольги Петровны. Она не удивилась моему появлению, лишь прошептала слова благодарности и то, что дед в меня всегда верил.

После кладбища поехали к Ольге Петровне. Мне всё время казалось, что вот-вот я услышу голос деда, увижу его с хитринкой улыбку в один ус и он назовёт меня писателем. Его жена накроет столик под навесом, подаст яичницу с помидорами, «выкатит» бутылочку самогона... И невольно к горлу подступал комок. В действительность меня вернул голос Ольги Петровны: «У меня к Вам, дорогой, одна просьба. Мы это давно обсудили с Александром Ивановичем. Жили одни, и хоронить нас некому. Его уже нет. Вы не откажите старухе в просьбе: похороните меня рядом с ним. Есть там загробная жизнь, нету её – хочу рядом быть, как и всю нашу нелёгкую жизнь. Судьба у нас была одна, так и лежать будем рядом. Мы этого оба хотели». От нахлынувших чувств, от этого святого доверия я с трудом сдерживал слёзы.

...Ольгу Петровну мы похоронили года через три в начале зимы. Соседи сообщили сразу, и я со своими друзьями приехал в тот же день. Люди в деревне добротой и отзывчивостью ещё не обеднели. Всё сделали по обряду и место выделили рядом с могилой деда Сашки. Иного эти старики и не заслуживали.

Когда копали могилу, где-то на половине сели отдохнуть и выпить по рюмке за упокой. После первой же стопки в небе раздался пронзительный крик. Подняв головы, мы увидели лебедя. Он кру-



жил над кладбищем, над посёлком и над рекой. У меня ёкнуло сердце, и я невольно вскрикнул: «Дед!» Мои друзья хорошо знали историю любви этих стариков, и я видел в их глазах какую-то светлую и затаённую грусть. И даже совершая похоронный обряд, при виде этого лебедя в наши сердца закрадывались теплота и умиротворённость. Лебедь ещё немного покружил и сел на воду.

Прошли похороны, поминки. Я выполнил все просьбы Ольги Петровны, все её наказания. Домой ехали молча. И вдруг впереди над дорогой мы увидели двух лебедей. Они несколько раз пролетели над нами, пронзительно прокричали и взмыли ввысь. Мы остановились. Вышли из машин и долго стояли молча. Кто-то курил, кто-то глядел в небо. Но лебеди больше не возвратились. Да и откуда они взялись в это время года? Не было их в наших местах, не гнездились они. Но меня всё не покидала мысль, что это – мои милые старики. Они снова вместе, счастливы и благодарны мне и моим товарищам за то, что чувство добра и справедливости мы ещё не растеряли.

Это невероятно, но этих лебедей мы увидели и на годовщину смерти Ольги Петровны. Мы были ещё на кладбище, когда услышали пронзительные крики. В небе кружила целая стая лебедей. Меня словно ударила молния – они! Это они, мои милые старики. И у них – дети. Свои дети. Красивые, сильные и любимые. Я понимал, этого не может быть, что это всё я выдумал. Но что-то заставляло меня верить в это, и глаза мои, помимо воли, заполняли слёзы. И эти слёзы были от пришедшей, наконец-таки, справедливости. Конечно, хотелось бы пораньше и на земле. При их жизни. Но хотя бы так. Для исправления уже наших душ.

Ведь России сейчас, как никогда, не хватает такого народа. Он не придёт сам собой. Его нужно вырастить, воспитать, выковать этот могучий стержень. Иначе нашей России не будет.



Ночь в сентябре

Замёрзший кузнечик чуть
 слышно стрекочет
 В увядшей траве на земле
 шоколадной.
 В такие спокойные тёмные
 ночи
 Я чувствую воздух сырой
 и прохладный.



Я в стылую ночь постою у
 порога:
 Блестят светлячки в не
 зашторенных окнах,
 И где-то внутри заскребётся
 тревога,
 И сердце занает – ни крикнуть,
 ни охнуть.

**ВАЛЕРИЯ
 МАХЕНЬКО**

Поэзия

Над черной водой, над
 притихнувшим лесом,
 К теплу улетаю от злого
 ненастья,
 Мне птицы пропели
 прощальную песню:
 – До нового лета, до нового
 счастья!..



А звёзды всё ярче, и небо всё
 выше,
 И ветер уснул на засохшей
 березе.

Такая вокруг тишина!
А по крышам
Крадется неслышно озябшая
осень.

Усядется тучкой на влажном карнизе
И будет дождем моросить до рассвета...
– Прощайте! – кричу затихающей выси, –
До нового счастья, до нового лета!

Не доверяйте зеркалам
И в них морщинки не считайте.
По зеркалам не составляйте
Отчеты прожитым годам.

Следы ушедшей красоты
Искать напрасно не пытайтесь.
Не злитесь и не обижайтесь
На паутинки седины.

Не доверяйте зеркалам –
Они солгут, они обманут;
В них отраженья быстро вянут
Подобно сорванным цветам.

И, не ища чужих похвал,
Своё лицо считайте милым.
Доверьтесь лишь глазам любимым –
Правдивей в мире нет зеркал.

Вивальди. «Шторм»

На улицах мокрых чудила
Промозглая осень сырая



А там ей дарили букеты
И «браво!» у сцены кричали...
Но люди не знали об этом
И мимо студентки бежали.

Постойте назло непогоде,
Забыв про дела и простуду! –
На ваших глазах в переходе,
Быть может, рождается чудо!

Когда-нибудь гордо в антракте,
В фойе у концертного зала
Вы скажете:
– Раньше Вивальди
Она для меня исполняла!

Вторая попытка

Я возвращаюсь к старым друзьям,
Я возвращаюсь к старым
привычкам,
Я принимаю слово «нельзя»,
Не находя его необычным.

Строю опять разрушенный дом,
Клею давно разбитую вазу,
Слушаю смех сыновей за окном
И забываюсь в мире фантазий.

Снова стараюсь правильной быть –
Старую роль на себя примеряю, –
Но не прошу мне обиду простить.
Я и сама ничего не прощаю!



Просто живу. Тихо плету
Нитку-судьбу.
Я так стараюсь...
Только два раза в реку одну
Мне не войти, как ни пытаюсь.

Спасибо вам...

Когда январская метель,
Пронзая сумерки бульваров,
На грязь дорог и тротуаров
Накинёт белую постель;
Когда бесстрастных стрелок ход
Отправит в пыль веков старинных
И свежий запах мандаринов,
И только что ушедший год...
Устав от елок и гостей,
Хлопушек, праздничных салатов,
Я своего рожденья дату
Отмечу скромно, без затей.

И лишь одно желанье дня
Хочу исполнить непременно:
Сердечно и проникновенно
Сказать «спасибо» вам, друзья,

За то, что есть у вас талант
Не только слушать, но и слышать,
Как дождь чечетку бьет по крышам,
Как травы с ветром говорят;
За то, что после наших встреч
Пишу с особым вдохновеньем;
За то, что в правилах общенья
«Не навредить и не обжечь»;

За все, что сказано в глаза
Простыми добрыми словами;
За то, что звать могу друзьями,
Спасибо вам, мои друзья!



Хватит сводить счёты

Мысля штампами бескомпромиссной революционной пропаганды, не желая объективно взглянуть в прошлое, недоброжелатели продолжают яростные нападки на писателя, гражданина, патриота Илью Сургучёва. Агрессивно, бездоказательно, примитивно.



По врагам и предателям – пли!

Снова неутомимые «борцы за справедливость» прошлись обличительной статьёй по Илье Дмитриевичу Сургучеву, на этот раз обеспокоившись тем, что в Ставрополе может появиться бюст писателю.

Сургучев коммунистом не был, напротив, боролся с большевиками по мере сил. В основном пером. Как и многие известные люди России, эмигрировал, поскольку на родине места ему не было, да его бы просто поставили к стенке.

В годы войны находился в Париже, в немецкой оккупации. Работал, чтобы выжить, помогал друзьям по несчастью. Никого не убил, доносов не строчил, судом француз-

АЛЕКСЕЙ КРУГОВ,
ОЛЕГ ПАРФЁНОВ

Краеведение





ским полностью был оправдан. Это его и спасло. Попадись Сургучев смершевцам, шлепнули бы его в два счета или сослали в «родные» таежные дали.

С последним ставропольским губернатором, князем Сергеем Дмитриевичем Оболенским, 77-летним стариком, полковником русской армии, дворянином, кавалером семи боевых орденов за русско-японскую войну, человеком чести, в мае 1945 года так и обошлись. Его арестовали в Вене и на десять лет отправили в печально знаменитый Темниховский лагерь в Мордовии. Там он вскоре и умер.

За что арестовали? За то, что «вражеская тварь» и «белогвардейский выкормыш». Зарыли в лесу, как собаку – ни креста, ни могилы. Потом, как водится, реабилитировали.

Не дает покоя ставропольским коммунистам тема предательства и пособничества, действительно, важная и непростая. Но почему главным врагом народа выбрали Сургучева?!

К сожалению, оценка периода оккупации в обществе практически не претерпела изменений с давнего советского времени. Все, что не укладывалось в прокрустово ложе партийных догм, принято было считать очернительством истории. А сегодня в провинциальных газетах на свет рождаются опусы, вроде того, что раз был в оккупации – значит предатель и враг. И если не шлепнули, то судьбу надо благодарить?

А между тем всплывает тема, которую статья-ми о Сургучеве подсказали товарищи из партийной организации – тема коллаборационизма и предательства коммунистов и комсомольцев на Ставрополье во время оккупации. В своих исторических очерках мы уже касались ее. Но к сказанному есть что и добавить, еще раз заглянув в прошлое и поразмыслив.



Они вели себя недостойно

О деятельности ставропольской парторганизации в оккупационные месяцы честных и объективных исследований, надо признать, не написано, хотя с тех пор минуло 75 лет.

Роль главного в крае коммуниста Михаила Сулова и его ближайших соратников в деле организации подполья мы еще покажем, а пока хотелось бы сказать, как вели себя в оккупации рядовые партии. В послевоенное время сведения об этом, чтобы избежать позора, были надежно упрятаны в спецхран. Но время снимает грифы секретности, и кое-что до нас доходит. Выяснилось, что далеко не все коммунисты смогли сохранить верность родине и преданность делу партии. Что ж так?

В годы войны только в РСФСР полностью или частично были оккупированы 12 краев и областей. «Под немцем» оказалось около 30 миллионов человек, многие не по своей воле. На территории края с учетом беженцев оккупация, длившаяся 5,5 месяцев, напрямую коснулась около двух миллионов граждан. Практически все они, кто вел хоть какую-либо разрешенную гитлеровскими властями деятельность, после войны стали «нацистскими прихвостнями», «изменниками родины» и «врагами народа» со всеми вытекающими последствиями. Судя по негодующим статьям о Сургучеве, ставропольские коммунисты этого убеждения придерживаются до сих пор.

Вот некоторые цифры. На оккупированной территории края находилось около четверти всего состава партийной организации. Это более шести тысяч коммунистов! Из фондов Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ): «На 20 февраля 1945



года рассмотрено 4558 из 6072 дел коммунистов, оставшихся на оккупированной территории (Ставропольского края. – Авт.). Большинство коммунистов... вели себя недостойно». А именно: 116 человек сдали документы в полицию, 2917 по разным причинам уничтожили свои партбилеты – как объясняли потом, считали, что немцы пришли навсегда. Многие открыто сотрудничали с немцами, работали на предприятиях, открывали собственное дело. Более сотни (и это по неполным данным!) бывших партийцев ушли с гитлеровцами в январе 1943 года, когда Красная армия освобождала край. Служили в полиции, записывались в антипартизанские отряды, строчили доносы на евреев и недавних коллег. О «деятельности» коммунистов во время оккупации Левокумского района известно из доклада завинструкторским отделом райкома ВКП(б) Педченко на партсобрании 21 марта 1943 года: «Согласно проведенному учету районным комитетом, коммунистов взято на учет 193 человека, из них находилось на оккупационной территории 110... Онищенко, кандидат в партию, работала на немцев, имела связь с немцами, разъезжала на машине с немцами. Будучи арестованной, немецкий комендант ходатайствовал об освобождении ее из тюрьмы, а в тюрьме она сидела так: весь день ходила по городу, ночью приходила в тюрьму. Ляхненко была тесно связана с немцами и карательным отрядом... Жучкова... до прихода немцев уничтожила свой партбилет... Еременко... в восстановительный период никакого участия не принимала как коммунист, во время сбора семенного фонда выгнала комиссию с квартиры и побила, при этом заявила, что придут немцы, я вас первых выдам.



Федоненко за день до прихода немцев уничтожил свой партбилет. Кагановский свою кандидатскую карточку отдал коменданту... Эти люди потеряли веру в победу советской власти, Красной армии... Кадры не на должной высоте, многие из них работали при немцах, выслуживались у них, теперь выслуживаются перед советской властью...»

Это не домыслы, это выдержка из архивного документа.

У Ильи Дмитриевича есть замечательная работа «Большевики в Ставрополе». Если бы у него были документы военной поры, он бы написал о коммунистах в Ставрополе при нацистах.

Честь спасли величаевцы

Не лучше обстояло дело и с комсомольцами. Вот грустная статистика военных лет, публикуемая впервые.

Из материалов РГАСПИ: «На оккупированной территории (Ставропольского края. – Авт.) оставалось 20884 комсомолец, или 37,8 % состава краевой комсомольской организации. Исключено из комсомола 1099 человек как скомпрометировавших себя, не дороживших званием комсомольца».

За почти полугодовую оккупацию края организованного партийного подполья создано так и не было, существовали лишь отдельные очаги сопротивления. Была провалена деятельность и комсомольского подполья. Причина проста – трусость комсомольских вожakov краевого масштаба.

Девять ответственных работников крайкома ВЛКСМ во главе с первым секретарем Якусаровым самовольно покинули пределы края, по-

просту сбежали, бросив подопечных на произвол судьбы. Долгое время об этом постыдном факте замалчивали, замалчивают и сегодня, а документы от широкой общественности держат в секрете.

Рядовые комсомольцы и молодежь самостоятельно, по велению сердца и совести, создавали подпольные группы для борьбы с оккупантами. Действовали зачастую неумело, совершая множество ошибок и просчетов, стоивших им жизни, ведь к подпольной и диверсионной работе их никто не готовил.

Честь ставропольских комсомольцев спасли величаевские подпольщики. Но героями их признали спустя лишь несколько десятилетий после войны, вручив награды семьям погибших. А предал ребят, кто не помнит, сержант Левокумского НКВД Василий Шейко – то ли коммунист, то ли комсомолец.

До сих пор не произошло официального признания подвига молодежной подпольной группы из семи человек в Ворошиловске, возглавляемой студентом Ставропольского пединститута Петром Петриевским.

После освобождения города имена бесстрашных подпольщиков как бы растворились во времени, на упоминание их наложили запрет. Как выяснилось годами позднее, органы госбезопасности арестовали сначала участника подполья Наполеона Василевского, затем руководителя группы Петриевского.

Обоим предъявили обвинение в приписывании себе несуществующих заслуг и... сотрудничестве с оккупантами. Военный трибунал вынес приговор – каждому по десять лет лишения свободы. Оба отбудут свой срок почти полностью и



вернутся домой лишенными здоровья, молодости, станут изгоями общества, потерявшими веру в справедливость.

Не равняйте под одну гребёнку

Во все времена были люди, сотрудничающие с врагом и сочувствующие ему, никуда не исчезли они и в годы Великой Отечественной.

Повсюду, куда немецкие войска приходили и устанавливали оккупационную администрацию, они находили помощников и прислужников. Трудно осознать, что советские люди помогали врагу в оккупации, пока их родные проливали на фронте кровь.

Но служить у немцев и работать на них тоже можно было по-разному. Некоторые шли на это по чисто бытовым причинам, чтобы прокормить себя и семью. Некоторые по убеждению, но оружия в руки не брали. Другие выслуживались, участвуя в обысках, слежках, расстрелах. В крае в годы войны находилось несколько концлагерей для советских пленных красноармейцев. Оставалось либо идти к немцам на службу, либо умереть на нарах от голода, ран и болезней.

Имеем ли мы право всех без разбору причислять к пособникам оккупантов, трусам, не исключая коммунистов и комсомольцев – передовой отряд советского общества? Всех под одну гребенку равнять с предателями Родины?! Актуальную тему подняли ставропольские коммунисты.

Правильно пишут они о том, что давно пора поставить памятник героине Первой мировой Римме Михайловне Ивановой. Странно только, что за 70 лет своего правления не вспоминали о девушке, даже не знаем, где ее могила. Со временем, думается, в партийной прессе будет поднят

вопрос и об увековечении памяти генерала Павла Александровича Мачканина, зверски растерзанного большевиками в 1918-м, о десятках других достойных людей, сметенных революцией.

А памятник Сургучеву мы, благодарные земляки, поставим, не сомневайтесь.



Преображенная действительность

Дмитриченко В.
Объяснение в любви.
Избранные произведения
в двух томах. –
Пятигорск:
РИА-КМВ, 2016.

Однажды, знакомясь с очередным номером альманаха «Литературное Ставрополье», обратил внимание на подборку стихотворений В.Г. Дмитриченко. Имя мне не говорило ничего, а вот стихи понравились. Ничего подобного после Гнеушева и Екимцева мне в ставропольской литературе читать не доводилось. (В скобках замечу: это не столько потому, что такой поэзии не существует, сколько по причине нашей невежественности – мы мало знаем и интересуемся своей региональной литературой.) Я навел справки, и выяснилось, что автор – статная, красивая женщина, напоминающая администратора преуспевающей фирмы. На одном литературном мероприятии подошел к ней и выразил свое восхищение. В ответ получил в подарок двухтомник лирики «Признание в любви»...



ПЕТР ЧЕКАЛОВ

**Литературо-
ведение**





Каждый том своего издания Дмитриченко разделила на две части, и всего получилось четыре: «С добром и миром», «Водовороты судьбы», «Есть слова у меня», «В плену листопада». Если попытаться определить тематическую суть каждой из них, получится, что в первой собрана пейзажная лирика, во второй – стихи о драматических страницах жизни автора, третья посвящена теме служения поэзии, а четвертая – любовной лирике. Но деление это довольно условное, потому что при желании отдельные стихи можно безболезненно переместить из одной части в другую. Так, например, хотя пейзажная лирика и выделена в отдельный раздел, нельзя сказать, что она только в нем и замыкается. Нет, она присутствует и в других, может быть, в меньшей степени, но ощутимо и осязаемо. Поэтому можно сказать, что стихи о природе являются основой всего творчества В.Г. Дмитриченко. Думаю, не будет большой ошибки и в предположении, что основным героем выступает не лирическое «Я» автора, а пейзаж, но при этом в нем почти всегда присутствует настроение героини, ее состояние, взгляд на мир в буквальном и переносном смысле.

Вот возьмем стихотворение «Весна». Что мы наблюдаем? Скирды сена, звонкая песня птахи в ивняке, тянущиеся к реке седые туманы, отряхнувшийся ото сна задумчивый лес, подернутая сиреновой дымкой даль, только-только разгорающийся день... Вот почти и все стихотворение. Пейзаж? Безусловно. Но вот финальные две строчки:

И моя одноокая комната

Тяготит, как несчастье, меня...

И тут мы понимаем, что все представленные картины увидены героиней из окна своей комнаты. Таким образом, обозначается ракурс взгляда.



Но это не все и даже не главное. В конце стихотворения четко проявляется мотив «несчастья», и сосредоточена эта беда в «одноокой» / однооконной квартире. Чем же вызвано тягостное состояние героини, проведенной ночь без сна? Прямого ответа нет, но подтекст подсказывает, что комната не только «одноокая», в ней еще и одиноко. Этим и определяется печальное звучание стиха. Как видим, пейзажное произведение все же приоткрывает нам внутреннее состояние героини.

Обратимся к другому стихотворению («Речки зеркальной веселая трель...»), в котором хмель не просто обвивает черемуху, а «душит» ее в объятиях, шепчет ей что-то в дурманном бреду, отчего та совершенно теряет голову и гибнет в самом цвету. Условно-романтический образ? Да. Но вот в финале появляется кровотокающая строка: «Нежные ветки изодраны в кровь...» Разумеется, – метафора: не на самом же деле кровь в любовных отношениях растений. Но, тем не менее, троп привносит в условно-метафорический мир стиха плотское начало, ощущаемый мотив жестокости, надругательства. А заключительная строка: «Знаю и я про такую любовь!» – не просто удостоверяет в реалистичности яростной любви в мире природы, она еще одним дополнительным штрихом указывает на любовную драму, пережитую самой героиней. Таким образом, стихотворение обогащается жизненной параллелью и уже выходит за рамки чисто пейзажной лирики.

В стихах богато представлены все времена года, но осень кажется более частой гостьей на страницах книг Дмитриченко. Любопытно, что она (осень) предстает неотразимой, прекрасной, как зрелая женщина («От чистых рос крапива в серебре...»). И такое соотнесение встречается



неоднократно. Оно угадывается даже тогда, когда сравнение не прямо указывает на эти две ипостаси (осень – женщина), но присутствующие в стихотворных текстах иные образные элементы воссоздают чисто женский образ осени:

От избытка чарующей силы
Осень платье рванет на груди <...>
И раздетая роща покажет
Диких груш молодые сосцы.
(«Чарующая сила»)

И в другом месте стыдливая осенняя рябина никак не может решиться сбросить платье у всех на виду («Тополь с легкой душой обнажается...»). А вот петуния не страдает комплексами такого плана и после соития со шмелем, когда тот, «от небывалого счастья тяжел», летит, натыкаясь на травы, она без всякого смущения поправляет «слипшейся юбочки яркий подол» («Шмели и петунии»).

С женщиной соотносится и отплодоносившееся поле: «Лежит спокойно убранное поле, / Как женщина, родившая дитя» («Сухое лето и сухая осень...»). Прекрасный образ! Поле, как женщина, разрешилось от бремени урожая! Наверно, так мог выразиться и мужчина, но для женщины такой взгляд, такие ассоциации представляются наиболее органичными.

Но не только пейзажные стихи восходят к человеку, но и человек, испытываемые им ощущения также нередко раскрываются с помощью природных параллелей. Вот как в стихотворении «Одеяло лоскутное» дается представление о счастье:

А счастье-то – вот оно –
Ощутимо, реально, хотя
Из печалей и радостей соткано
И простегано ниткой дождя,
Звонким пеньем пичуги пронизано,
Непрерывным жужжаньем шмеля...



В другом месте образ счастливой женщины снова представлен в соотношении с природным явлением: «Медом переполненные соты / Я в себе, счастливая, несу...» («Солнечно на сердце...»).

Валентина Гапуровна родилась и выросла в казахстанской деревне. И, хотя большую часть последующей жизни она провела в городе (Невинномысске), знакомый с детства мир села и природы представлен в ее творчестве широко и многообразно. Родная Лузинка и отчий дом – одни из самых светлых и проникновенных страниц ее лирики. Весь этот сельский быт с косами, топорами, укропным духом, запахом кадки с засоленными грибами опэтизирован с любовью. И свое место в этом мире находит гусь, разбрызгивающий лужи, паутинка в саду, качающая тельце высушенной осы, подорожник у откоса, прикрывшийся изнанкою листа. Вот влюбленный чертополох глядит нахалом, а тут поленица дров развернулась, как гармонь; клен в старом скверике взял и разоделся вызывающе, как пижон, и тополь у плетня стоит не просто дерево деревом, а звонко хлопая в ладоши, с нетерпением ожидая героиню. А вот хмель... О хмеле вообще хочется процитировать:

И, серьгой играя звонкой,
Окруженный стаей муз,
Будет хмель стоять в сторонке
Да наматывать на ус:
Свист малиновки у яра,
Жаркий шепот лебеды...
(«Будет»)

Посмотрите, как тонко и изящно природное свойство хмеля – с помощью усов обвиваться вокруг соседних растений – используется для пре-



вращения обычного растения в природный орган, способный поэтически воспринимать действительность.

Вот картинка о том, как прибрежные деревья уронили листья в воду. Казалось бы, обычное сезонное явление. И что ты к этому добавишь? Поэтесса наполняет смыслом и это событие: «Листьев красные заплаты / Распластались на реке» («Дней ушедших отголоски...»). Оказывается, у опадающих листьев своя вложенная цель: прикрыть собой изорвавшееся тело реки. Попутно не можем не обратить внимание на великолепную мелодику: заплаты распластались...

Кто бывал в казахстанских степях, знает, что артезианская или колодезная вода там солоновата и отдает горечью, и поэтесса находит причину этого явления – не научно обоснованную, разумеется, а поэтическую: колодцы солонь от горьких слез («Деревня»). И чайная роза цветет навстречу холодам неспроста, а из одержимой жизненной установки цвести до последнего вздоха и радовать мир красотой («Роза»).

В поэтическом мире Дмитриченко степенные лоси запросто вскидывают солнце на рога, одуванчики становятся прообразами мыльных пузырей, хмельной июль сквозь герань на подоконнике цедит рассветное молоко, а Большая Медведица льет из своего ковша бесконечный звездный свет на флюгер мельницы. Здесь шелестят дождей цветные нити; звезды, царапая ветхий карниз на обшарпанной шиферной крыше, кубарем катятся вниз, и паучок на ветке ремонтирует свое серебряное кружево... Нельзя не удивиться этим поэтическим открытиям почти в каждом стихотворении! Так все просто, так все ясно, так проникновенно и так все в высшей степени поэтично! А образ ро-



гатого стада, что синий клевер кропит молоком, разве не чудо? Еще какое! Прямо есенинское, я бы сказал!

Этот мир не назовешь особым, он обычный и привычный, но увиден особым зрением, потому и становится он столь прекрасным. Многочисленные примеры убеждают, что под пером Дмитриченко самые незначительные, малоприметные явления обретают поэтическое звучание. Это просто удивительно! Не перестаешь изумляться тому, как самая заурядная, привычная для глаза картина под пером поэтессы перевоплощается вдруг в высокую поэзию. Ну, сколько раз на нашем веку выпадал первый снег? Сколько раз наблюдали мы его и на зеленой еще траве, и на не успевших сбросить листву деревьях?

Лист из-под снега топорщится.

Вяз неприветлив и пег.

Желто-зеленая рощица

За ночь упрятала в снег.

(«Лист из-под снега топорщится...»)

Знакомая картина? Да. Только отметим точность рисунка, уверенную руку мастера, умеющего схватить мгновенье и представить суть свершившегося явления зримо, ощутимо, в красках.

Ветры ликуют и кружатся...

Всё в ожиданье пурги.

Оцепенели от ужаса

Клены у тихой реки.

Если в первой строфе перемены в природе представлены живописно, взглядом метким, наблюдательным, но все же бесстрастным, то тут уже внутреннее природное волнение, передающееся читателю через олицетворения: герои сезона ликуют и кружатся в предвкушении пурги, а вот клены, застигнутые врасплох неожиданным



наступлением зимы, не способны очнуться от испытанного ужаса. И драматизм произошедшего отчетливо передает глагол «оцепенели» и художественная деталь, указывающая на место действия: «у тихой реки». Эпитет «тихая» усиливает лиризм звучания, оттеняет неподготовленность растительного мира к случившемуся природному повороту. Этот же мотив углубляется и первой строкой финальной строфы: «Сойки с испугу тарашатся...» Но вот заключительное трехстишие, которое гармонизирует звучавший на протяжении двух строф диссонанс:

Юные ветлы в бору
Шьют, удивляя изяществом,
Золотом по серебру!

Картина получается не просто поэтической, – хрустальной! Она чиста и прекрасна! Она уже в ином – позитивно-преображенном – плане представляет тот же природный катаклизм. Не просто сглаживает драму, а просветляет финал, одевая его в празднично-метафоричный наряд.

А вот как лирично сказано о наступлении весны: «Ходит весна по крыше / Капельками дождя». Здесь не столько то важно, что персонифицированная Весна способна ходить, а то, что ходит она по крышам капельками дождя. Вот это та деталь, которая трогает, берет за душу. И вот финал того же стихотворения:

И на ладонь, не глядя,
Вслушавшись в первый гром,
Божья коровка сядет,
Как на аэродром.
(«Май»)

Какой-то задор просвечивает сквозь эти строки, озорство. Ну где ладонь и где аэродром?! «Дистанции огромного размера», – как сказал бы из-



вестный литературный персонаж. Но связывает эти два, казалось бы, несоотносимых понятия – божья коровка, для которой и раскрытая ладонь, что аэродром!

Невозможно привыкнуть к этому умению автора соотносить далеко отстоящие друг от друга явления. Ну какая может быть связь, скажем, между кустом жасмина и парламентаром? Но вот сказала поэтесса: «Куст жасмина, как парламентар, / Выбросил над садом белый флаг» («Второе цветенье»), – и все стало на свои места. И в двух строках скапливается одновременно целый букет выразительных средств: сравнение (куст, как парламентар), олицетворение (куст выбросил), метафора (белый флаг).

Образность самой высокой пробы рассыпана щедрой рукой по страницам двухтомника. Вот ведь как можно было сказать о наступлении последнего летнего месяца: «Август приблизился к спелым губам / Заревом вишен». И о падающем кленовом листе – как о чем-то близкородственным: «Село, кружась, на ладошку мою / Крылышко клена...» («Тянут свою канитель паучки...»). А как вам образ осени, паутинками цепляющийся за лето? А запечатавшийся в кокон паучок, отдыхающий в своем гамаке? А клен, что держит на ветке кормушку, как поднос на руке?..

И таких поэтических картинок – множество! Так много, что поражаешься их неисчерпаемости. И – главное! – они всегда естественны и органичны в ткани стиха. Можно просто даваться диву, как поэтическое воображение не устает, не повторяется, а все вырабатывает новые неожиданные образы меняющейся природы.

Валентина Гапуровна не просто подмечает обыденные мелочи и детали жизни природы,



она умеет преобразать их. И происходит это у нее столь просто и безыскусно, что, кажется, тут и усилий-то никаких прилагать не нужно было, все так взялось и само собой сложилось. Но мы-то понимаем: чтобы добиться такого эффекта, помимо кропотливого труда, необходим особый, необычайный дар. И автор обладает этим редким талантом превращать в истинную поэзию все, что ни попадется на пути, все, что ни окажется в поле зрения. И дар этот – природный, никаким образованием не усвоенный, никаким опытом не обретенный.

Удивительно и то, что, когда поэтесса затрагивает тему личных невосполнимых потерь (а второй раздел «Водовороты судьбы» только из таких произведений и состоит), заполняющих все ее существо неизбывной болью и чувством вины, она не впадает в публицистичность, стихи не превращаются в рифмованное страдание, поэтическая планка их остается очень высокой. Свойственное ей природное эстетическое чутье не дает ей даже в такой трагической теме, когда человек не совсем властен над собой, опускаться до тривиальности. Стих остается таким же емким, лаконичным, безупречным с содержательной и формальной точек зрения.

Многие строки Дмитриченко отшлифованы до такой степени, мысль и форма выражения в них слиты настолько идеально, что воспринимаются как крылатые выражения:

Беспристрастней судьи не бывает,
Чем пристрастная совесть моя!
(«Соберу я слова и просею...»);
Люди, может быть, чаще, чем реки,
И мельчают, и сходят на нет.
(«Замелькала листва, закружилась...»);
В любви всегда сильнее тот,



Кто меньше любит.
(Благодарю»);
Лишь тот сердиться не умеет,
В ком ни души, ни сердца нет!
(«Молчишь, на белый свет обижен...»);
Нет, к несчастью, надежнее средства
От любви, чем другая любовь!
(«Всё по-старому»);
Душе лишь то сказать под силу,
Что в ней самой заключено!
(«Молчишь, на белый свет обижен...»).

Это тоже неоспоримое свидетельство творческой состоятельности поэтессы.

Касаясь вопроса поэтического языка Дмитриченко, В. Сляднева отметила его народность, метафоричность и «упорное нежелание поэта использовать слова, пришедшие к нам из нового мира, из духовного обнищания России».

Выражая солидарность с этим мнением, хотелось бы обратить внимание и на то, что Валентина Гапуровна порой использует лексику скорей из деловой или научной сферы, нежели художественной. Вот возьмем, к примеру, словосочетание «переменная облачность». Казалось бы, фраза имеет устойчивую стилевую маркировку, прочно привязывающую ее к метеосводкам. Но вот сказано: «Облачность в сердце моем переменная, / Скоро прольется дождем...» («Костерок»), – и канцеляризм мгновенно обретает лирические очертания. И перед читателем предстает опечаленная женщина, готовая разразиться обильными слезами.

А как вам эти строки: «Мне тогда даже ад / Пятизвездным покажется раем» («Отпылает мой сад...»)? Эпитет, определяющий категорию гостиницы, соотносится с раем... В этом тоже проявляется оригинальность мышления. И здесь важна не



только своеобычность, но и пластичность, с какой деловая лексика вводится в поэтическое произведение.

Не пренебрегает поэтесса и прозаизмами, словами с просторечным оттенком: «И чую от счастья, / И доли иной не хочу», «Кому теперь нужны мои страдания / И то, над чем я так мороковала», «И рифмы гомонят наперебой», «Орава воробьиная», «Ромашки тарасили глаза», «Ошалев от незапных снегов», «Разухабилась лебеда»... Но и в таких случаях присущие поэтессе эстетический вкус и чутье гармонизирует, сплавляет разностилевою лексику в единый органичный речевой поток.

Отличительным свойством лирики Дмитриченко является и то, что в ней не затрагиваются какие-либо социальные или общественно-политические проблемы, как будто их не существует вовсе. Это не может быть случайностью и свидетельствует о том, что поэтесса считает (или это происходит помимо ее сознательного выбора), что поэзия – не форма борьбы или протеста, она – не поле брани, а сплошное переживание и настроение. В этом смысле, как мне представляется, ее позиция смыкается с одним из самых чистых и пронзительных лириков современности – Л.И. Чекалкиным, поэтом, насколько можно судить, унаследующим традиции чистого искусства. Свидетельством близости поэзии Валентины Гапуровны канонам данного литературного течения является и фраза В. Слядневой: «Стихи ее говорят о том, что она в этот мир пришла воспеть его красоту, она пришла любить...»

Дмитриченко традиционна вся – от первого и до последнего стиха. Но поразительно при этом, что она умеет не повторять чужие зады, у нее свои пути и тропы, свой незаимствованный голос, интонация, богатое образное мышление.



Кажется, Есенин первым из русских поэтов воспел и опоэтизировал столь непоэтичное создание, как корова: «И на песни мои прольется, / Молоко твоих рыжих коров». Это не только о деревенских корнях, это – освящение собственной поэзии, словно святой водой, коровьим молоком.

Некрасов, заметив на Сенной площади в Петербурге избиваемую кнутом крестьянку, обратился к богине творчества: «И Музе я сказал: «Гляди! / Сестра твоя родная!»»

У Дмитриченко Муза воплощается в образе коровы: «Лиророгая корова / Приносила рифмы мне» («Там, где месяца подкова...»). Лиророгая! Всего один эпитет – незаимствованный, оригинальный, превосходный! – и неуклюжее животное становится олицетворением поэзии! И своеобразным опознавательным знаком его становятся рога, изогнутые в виде лиры. (Это ж надо было заметить, соотнести!) А лира, как известно, – символ поэзии. Вот так пересекаются, переплетаются и трансформируются поэтические образы. Вот она – реальная смычка традиции и новаторства, синтез старого и нового, обновление современной поэтической палитры!..

Давно не получал я такого удовольствия, такого радостного восхищения от чтения! Поэзия в своем природном естестве, самая что ни на есть подлинная, разлита по всем страницам книг. Я изумлялся поэтическому волшебству, ясности мышления, неподдельности чувств, нескончаемому многообразию образов, высочайшему мастерству, воспринимаемому уже не как техническое совершенство, а как природная данность говорить просто, естественно, проникновенно, когда слово

органично и находится в ладу с другими словами, их звучанием, смыслом. Дмитриченко говорит стихами так, как остальная часть населения говорит прозой, будто эта форма общения была дана ей изначально, как самое обычное человеческое свойство. И в этом смысле я не нахожу никакой рисовки или преувеличения в авторском признании:

Я поэт не по собственной воле,
А по властному зову судьбы!

Подписано в печать 20.09.2018.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ № 318-33. Тираж 979 экз.
Дизайн и верстка: Климов А.В.
Корректор: Иванов В.Б.
Отпечатано в типографии «Фаворит»:
394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Трудовая, дом 50, кв. 10.
Тел.: 8-958-649-53-31.